

КОНСТАНТИН КУПРИЯНОВ

\*\*\*

МУЗЕЙ  
«КАЛИФОРНИЯ»



КНИЖНАЯ  
ПОЛКА  
ВАДИМА  
ЛЕВЕНТАЛЯ

18+

Содержит  
нецензурную  
брань



Книжная полка Вадима Левенталя

Константин Куприянов  
**Музей «Калифорния»**

Издательский дом «Городец»

2023

УДК 82.312.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6

**Куприянов К.**

Музей «Калифорния» / К. Куприянов — Издательский дом  
«Городец», 2023 — (Книжная полка Вадима Левенталя)

ISBN 978-5-907641-22-8

Если бы Линч и Пинчон вместе задумали написать роман, то получился бы «Музей „Калифорния“» – это одновременно и мрачный полицейский детектив, и путешествие в глубины бессознательного, и едва ли не наркотический трип. И однако же это русский роман молодого автора, написанный блестящим языком, на пределе эмоционального напряжения. Захватывающее и умное чтение.

УДК 82.312.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-907641-22-8

© Куприянов К., 2023  
© Издательский дом «Городец», 2023

# Константин Александрович Куприянов

## Музей «Калифорния»

© К. Куприянов, 2023

© ИД «Городец», 2023

© П. Лосев, оформление, 2023

*Жене посвящается.*

*April is the cruelest month.*

*T. S. Eliot. The Waste Land*

Ехал домой восемь часов: сперва по неосвещенным локальным трассам, потом – по межрегиональному хайвею номер восемь, – и все восемь часов, по безымянным и по восьмому, проклинал ее. А на самом деле – себя. Ворвался в дом порядком уставший, но все же еще разогретый яростью, напугал кота, ужаснулся отражению в зеркале, и, чтобы я смягчился, отражение рассмеялось. Дом смягчил меня, ненадолго осталась только боль, но я еще посыпал ведьму проклятиями. Просто чтобы были. А что еще остается мужчине, разочарованному в себе и в том, что он, вопреки возрасту, вопреки силе, вопреки всему, вовсе и не мужчина?..

Не могу им стать, а проклиная чертову ведьму. Кот перепугался и спрятался. Большой жирный кот живет у меня в доме. Благодаря ему я хотя бы узнал, что умею любить. Без него чередой серых лет я думал, что даже этого не дано, и знаешь, как-то чертовски сложно быть человеком, если не уверен до конца, любить-то ты можешь или нет. Но если есть кот, и есть кусочек сердца, для него отделенный – где он сохранится и останется, – значит, могу?.. И так все гармонично выходило. Как будто я папирус разматывал, а там – судьба. На нем иероглифы, и мне понравилось, что все знаки сходятся, и вот, значит, после довольно длительного испытания и серии трансформаций, я полюбил.

Пускай ведьму, она и не спорила. Она так мне и сказала, что ей нравится, что я ее так называю. «Витальное, – сказала, – слово». И она была чистая ведьма. Из моря людей, из водной бездны, в котором три миллиарда лиц и имен, от мала до велика, – все море женщин было перед моим выбором – я вытянул именно ведьму! Именно эту. Удивительно, как быстро обезьянка переключает передачи: вот еще вчера мне рисовалось все как благословение судьбы, а сегодня как проклятье! Но кого я на самом деле проклиная? Уснув на полмига, я очнулся уже в другой ночи: той, где не было никакой девушки, никакого романа, никакого грязного замысла сочинить череду анекдотов и баек, дорожных записок, а была с самого начала чистая мысль избавиться от страсти, обезображенного чувства и вернуться домой.

Проснулся. Лежа закурил. И чего, спрашивается, ждешь? Что я пойду рассказывать от начала до конца? Да к черту. Все идет к черту. И истории эти прямые туда же идут. Буду рассказывать, как рассказывается. Я свободный человек. Я, мать твою, американец. Лежу в ботинках на диване, и плевать. Кот у меня с особенностью: он, как и я, любит быть рядышком, но держать дистанцию. Не любит прикосновений, но любит, чтобы к нему тянули руки. Мой кот точь-в-точь как я. Бесит.

Курю в потолок, хотя нельзя. Мне, американцу, свободному человеку, в чертовой Америке ничего нельзя. Это просто сводит с ума. Трахнуть ведьму нельзя, это злит больше всего, но это ладно, это хотя бы закон. А вот какого рожна я по человеческим понятиям не могу курить в этой дорожной квартире?! И вот я курю.

Мне, вообще-то, категорически запрещено это делать. Работа. Могут проверить. Marijuana – this is a big no! Написано где-то. Я в чертовом департаменте работаю. Все завидуют, да я сам себе завидую, когда думаю об этом. Detective Damian Cooper. У меня есть значок и ксива. Я пишу рапорты и езжу на места преступлений. Все как в кино, только это

жизнь. Странно и дико, будто это сон после утомительной дороги сквозь горы и пустыни домой, к берегу, откуда не уходит наваждение лета, не уходит солнце и романтическая, годящаяся только для настоящих любовников ночь.

Например, четыре дня назад: развороченный дом, расстрелянный барыга. Нет головы, нет ног, нет следов, но всем в целом понятно, что случилось: показательная казнь, совершенная барыгой покрупнее. Я даже знаю его имя. Мне надо связывать цепочку событий, чтобы... Но перед кем и зачем я распинаюсь об этом сейчас?.. И окурок опасно вываливается из рта, катится, тухнет на грязном полу, становится кошачьей игрушкой. При яркой лампе почему-то так уютно спится, фантазируется. Мне снится, что я стал им, американцем Дамианом Купером, уважаемым членом общества, со всеми его грехами и тяготами, со всеми клише, известными миру: безвкусным кофе, посредственным пивом, огромной машиной, зуботычиной в зубах, кредитом, который выплатить невозможно, вечной дырой в кармане, откуда вытекают все деньги и смыслы. Это я?.. Короче, сказал ей, что я – детектив. Произвело прямо-таки Эффект. С большой буквы. Ну а как еще? Рос я без отца, типичная история российских девяностых, и, значит, ухаживать учился по фильмам про ментов. Фильмами про ментов зато можно было обмазаться, будто все отцы всех брошенных детей пошли в менты и в бандиты, причем стали такими, какими их изображают в кино. Папа, мне ее очень-очень захотелось... Мужчина же я, в конце концов, понимаешь? Я просто с ума сошел на эти семьдесят три дня. Да, я посчитал. Наш роман продлился семьдесят три дня... но я хотел одного, я хотел ей вставить, и это меня вело целых семьдесят три дня. Я захотел ее, конечно, моментально, но до мозгов это «доплыло» (снизу, поди) на день четвертый. Я лег, взглянул на ее фото и сгорел.

Тоже курил, кстати, в тот момент, когда внутри меня взорвалось оно, и тоже в ботинках, на диване, а напротив, на пятне ковра, невозмутимый лежал этот же самый огромный мой кошалот и смотрел без эмоций, не понимая, но соединенный накрепко чувством, которое тянет меж зверьми и людьми нить. «Кот! Я полюбил! Спасибо тебе!» А кому еще было признаваться?.. Это обрушилось водопадом, этого было так много, что и вздох стал глубже, и плечи расправились, и взгляд прояснился, и поволока серости, которой я жил многие годы, растворилась на несколько минут. Объяснять не стал, не для него, как говорится, перо мое росло. Короче, захотел я ее к четвертому дню и следующие шестьдесят девять дней, то бишь до сегодня, были разговоры, ожидания, планы и предвкушения. Конечно, человек я до крайности самоуничтоженный, и поэтому на пути желания вставали то и дело комплексы, сомнения, отрицания, но! Но. Именно для ведьмы я действительно худо-бедно погасил в себе голос сомневающегося ботаника и заговорил себя: папирус обещает исцеление. В папирусе сказано: тут кончается предел твоего мучения, и одиночества, и метания, и твоей неспособности стать наконец-таки мужчиной – и ты становишься тем, кем был задуман. Мужчиной, детективом, ведьмаком. Ведь кто, в конце концов, отвечает за рождение ведьм?..

Но теперь все разрушено в угоду книжной драме. Теперь все позади, и этой истории ничего не остается, как только медленно гаснуть в архиве неслучившегося счастья. Понемногу силы меня оставляют. Скидываю ботинки и залезаю под одеяло. Для этого просыпаюсь и с трудом узнаю реальность, в которую втиснулся после тяжелой дороги. Теперь охота порыдаться. Та ли это ночь, в которой я умею плакать? Котик тут подкрадывается аккуратно... Получилось заснуть.

Утром встал угрюмый, но, по крайней мере, явно более вменяемый. Больше так гнать нельзя. Надо позволять выдох. Надо себя пожалеть. Был недавно случай, и он почти свел нас в гроб: я разбился на машине, это было ужасно. Если опять себя так же чморить, как тогда, то... нет, ну пайка у меня крепкая, развалиться на самом деле не должен, даром что ли столько всего уже было. Но, пожалуй, из совсем невозможного это превращается во что-то, чего уже исключать прямо-таки нельзя.



Я загнался. Отражение смотрит на меня полувопросительно. Как будто замечает раздвоение: темная новая материя и простачок, Ванька из умирающей страны третьего мира, светлолицый образ на фоне тьмы. Я хочу превратиться. Я хочу стать тьмой. Я хочу начать говорить на чужом языке, радоваться чужим радостям. Я хочу исчезнуть, не потрудившись осознать себя, и это главный дар поцелуя ведьмы. Если этой книге предстоит стать чередой путевых заметок, я на шаг приближусь к тому, чтобы превратиться в темного двойника. Дом остался далеко: и пространство, и время унесли вперед. Да, мерцает свеча на подоконнике, где любящие прежнего меня беспечно ждут, но усложнения достигли такого порядка, что просто так туда не заявишься. И как проверить, меня ли манит эта свеча?..

В какой-то мере та реальность (употреблю это слово по назначению), в которой я проживаю, одержима наблюдением, саморефлексией и самозаписью. Она постоянно фиксирует себя: отнюдь не только письменно. Ее фиксируют сотни тысяч видеокамер слежения, случайные кадры, которые люди делают на свои телефоны и мыльницы, газетные и сетевые заметки – множество инструментов. Без постоянного пересказа самому себе историй мир, пожалуй, спятил бы за день. Но запись с камеры видеонаблюдения хотя бы не пытается быть произведением пресловутого искусства, не пытается преломлять, она честно отображает меня. И зеркало кривится от этой мысли.

В общем, на следующее утро я встал и прошелся. Мне бесконечно тяжело даются подъемы. Какая-нибудь пошлая, тупая служба (работа) вынуждает еще худо-бедно следить за часами, но даже если я приговорен к трудовой повинности, то обычно ставлю будильник таким образом, чтобы иметь полчаса на осмысление того, как же поднять себя и выковыряться из постели. В праздные же дни, которыми разбавлено мое существование между сезонами пахоты, я обычно лежу-сиду подолгу. Ведь предвкушение кофе всегда вкуснее и питательнее самого напитка, а может быть, просто у меня уже много лет (так, что и не рассчитать, когда началась) тянется, с перерывами на смутную ремиссию, депрессия. Она затянулась, как мучительное удушье, и не желает отпускать. Но жить в большом городе и не страдать зависимостью или депрессией может только святой, а святые не сочиняют книг, не волочатся за ведьмами. Они лишь вмещают в себя темных подселенцев, без надежды пережить их, и милостью Божьей всегда переживают.

Утром, следующим после отъезда из края ведьмы, я, по крайней мере, знал причину горя. Важно знать. Ведь большей частью все случающееся со мной так или иначе необъяснимо. Так что давно начал придерживаться подхода, что причины – если они сооружены логикой – условны, походят на костыли, подставленные под требующее объяснения. Но поскольку необъяснимое за каждым поворотом, каждым новым утром, то тренируешь мышцу объяснения, и она к зрелым годам делается крепкой и нагруженной, у ее работы возникает определенный почерк, проявляются определенные трюки и уловки. Но все равно, мне приятно держать некие виртуальные вожжи и задним умом подводить под события подходящие аргументы, все это более или менее фикции и заплатки. Что-то всегда будет случаться, мерцать и превращаться. Я могу лишь изредка сдерживать превращение: я доказываю это каждое утро, между шестью и семью утра, когда ничего не делаю, упрямо, с наслаждением, когда выключаю голову полностью, а зрачки в потолок, но сон уж сошел, а руки применяю то для рукоблудства, то для расчесывания кота, но все это без толики смысла или цели. (Кончить – это цель? Надеюсь, есть где-то защищенная PhD работа по этой теме.)

Но вот проходит очередной такой час, и я должен соучаствовать в превращениях. Вновь я смотрю на смеющееся зеркало. Практика древняя: смеяться во что бы то ни стало, даже если из глаз текут слезы. Десять первых минут на ногах я натужно смеюсь в зеркало в одиночестве, и спазм оставляет грудь, получается выдох. Но мысль о том, что я самообманом внушил себе, будто влюбился в нее, не становится менее горькой. Есть только один рецепт: ждать, пока странички перевернутся дальше и понемногу все отдалится настолько, что прошлое сомкнется; все

в конечном счете удаляется так, что перестает иметь вес и притяжение. Самые яркие звезды непрерывно удаляются от нас – говорят, так будет до тех пор, пока Вселенная не кончит своего необъяснимого расширения, – весьма вероятно, и самые яркие опыты: любовь или ужас, подчинены схожему закону, хоть космос их не разведан и не описан вовсе.

О памяти мы должны раздумывать постоянно, потому что на памяти строится вся кажущаяся стройность поступков настоящего. Мысль только кажется серьезным инструментом, но, как заводная обезьянка, она не перестает прыгать и трепыхаться, уговорить ее очень сложно, даже когда единственная твоя мысль – о том, как бы уговорить мысль.

Мне бы очень хотелось, чтобы ведьмочка стерлась из моих прошлых мыслей, и понемногу она становится просто именем и несколькими картинками, и тогда я выясняю, что остаюсь наедине с мошкаррой из собственных комплексов и страстей. Как вообще говорить о нелепом сердечном разочаровании? Можно ли писать историю этого персонажа (тебе он представлен как некий «я», и, наверное, ты более-менее соотнес его с «белым гетеросексуальным мужчиной средних лет» – то бишь наиболее распространенным, заученным, занудным и подлежащим обструкции архетипом для большого города «на Западе» в пятне эпохи между краями второго-третьего тысячелетий) с какой-то другой интонацией, кроме как ироничной?.. Наверное, и невозможно, unless он только не осмысляет нечто такое (например, устройство Вселенной, или, того лучше, свою мужскую сущность, или – вариант уже кажется беспроектным – свою же или ближнего своего смерть) – тогда тональность может быть и драматическая.

Но одного нельзя точно – нельзя нейтрально написать. Нельзя и притвориться, живя в двадцать первом веке, что ты всерьез рассчитываешь рассказать какую-либо другую историю, кроме как историю пресловутого «я». Нет, я бы, может, и сумел бы вытянуть сюжетец, где ангел-хранитель – некое Око – витает над неспелыми персонажами: например, в данном случае над ведьмаком и ведьмой. Можно взять целую дюжину разных опций: например, разогнать историю сразу с того мига, как он и она встретились, и этот краткий, пылающий роман разложить на черточки слов, взглядов, движений; или можно начать вообще издали и рассказать, пользуясь гибкостью письменного времени, как они шли друг дружке навстречу, превращаясь в пару: она сидит на кожаном диване, он, совсем близко, мечтающий коснуться ее коленки, на приземистом бархатном кресле, и слушает, и слушает... Она читала ему невероятным, грудным голосом, из невероятной, спелой груди, свою невероятную книгу, и он гадал одновременно: это действительно хорошо написано, или это просто его желание заставляет видеть во всем, что она произносит и делает, выражение совершенного искусства?..

И так далее и тому подобное... Превратить в текст можно любую историю, у неопита от подобного захватывает дух и закладывает уши.

Ну ладно, а допустим, послезавтра мода подует в другую сторону, и появится (воскреснет) спрос на комедию. Собственно, никуда он и не девался. Любой так называемый автор скажет, что вещь мечтает написать остроумную. Хорошо, а можно ли вообще автору разоблачаться до признания того, что он автор? Или что он персонаж?.. После смехотерапии перед зеркалом я упал обратно на диван, я безнадежно опоздал на службу, я не мог поднять себя, я в черном разочаровании, мне просто больно; боль сверлит меня, добывает из меня тьму, прокачивает ее по газопроводу для нужд ада, огромный кошалот прыгает вокруг, потом падает на диван, крутится, бьет хвостом и кричит, кричит, ноет, совсем как человек, с непередаваемой, но и крайне очевидной интонацией: «Дай, дай, дай! Мяу-мяу-мя-я-у...» А в моей голове взрываются целые солнечные системы смыслов, меня скручивают судороги, где отражаются целые пласты потерявших имя цивилизаций. Кормить кота и переживать грандиозную драму, завязывать галстук и мечтать проснуться в другом языке, в другом диалоге.

Все постоянно будут талдычить, что ты должен показывать. А с другой стороны, ты бесконечно будешь ожидать, что покажут тебе. Не зря эволюция прокачивала для нас все эти годы именно зрение. О, глаза – в них весь смысл. Мы едим и рассуждаем глазами. Короче, у меня

целая история о том, как я бы мог или, вернее, как я буду показывать этот момент: она читает свой отрывок, он пожирает ее глазами и ушами... Что он чувствует?.. И почему это сегодня уже я пишу о нем как о «нем», а не как о себе?.. Может, все-таки поднять ставки? И тогда надо сказать о глубоком в нем, например, что этот здоровяк тридцати одного года от роду никогда до этого не бывал с женщиной и это его самая черная, на самую большую глубину зарытая тайна, и тайну он привез ей?.. И поэтому он так яростно, громко проклинал ее?.. Тогда возникнут чувство липкого стыда за него и ненависть к нему: зачем на такое смотреть?.. Фу! Однако чему это учит, как сцепить его с опытом внешнего, беспрерывно трахающегося мира? Я нервно вскакиваю, иду наконец-то на кухню, коша-лот бежит следом. Насыпал ему еды и нацедил себе завтрака, кофе. Никаких больше предвкушений, ощупываний предстоящих превращений, только сырая подлинность, только настоящий кофе, неизменно оказывающийся pretty much мерзким. И надо как-то заговорить это неловкое признание, ради которого затевается весь этот сыр-бор. И узнать по голосу, каким человеком это тело проснулось новым утром.

Счастливые не пишут, не снимают, не рисуют (and probably, не существуют). Они есть, конечно, но мне с ними не столкнуться, и это к лучшему, мы на разных этажах Музея, на их этаж нужен специальный пропуск, да я, признаться, и не претендую. Нужна справка от врача, что не болеешь несчастьем, нужно пройти через бюрократическую волокиту.

«А тут, на моем этаже, правила устанавливаю я», – внахлест, я действительно сказал ей так... Я начал целовать ее запястья, но она отдернула руку. Я сжал ее крепко, навалился, у меня стало две пары лишних рук, я зачерпнул, сколько получилось, ее тела в четыре жадные ладони. Она оттолкнула меня, и вдруг желание обрушилось вниз по телу, пропало через пятки, провалилось через древний пол, через труху перекрытий и вечную подвальную пыль, через почву и подземные реки, спящие плиты, в горнило пылающего сердца.

Как же унизительно. И главное, ощутил, как в тысячный раз предало меня именно собственное сердце – то самое Предчувствие, о котором понаписано море книг. Конечно, все дело в нем. Вечно оно ошибается, и я возненавидел нас обоих, и эту звонкую, странную, кринджовую тишину. Просто бесконечно неловкий и постыдный момент. Тебя отвергают, а ты все еще не осознаешь этого, вытираешь с губ невидимую пену и жаждешь испариться, но так бывает только в сказках.

Но, конечно, я ничего не говорил. Сейчас я оборачиваюсь, в прошлом только мягкая покладистая пустота, и страшный пустой выдох ночи, когда она уезжает, такая же растерянная, как и я, увозит свое волшебство, чтобы предложить его чуть колышущимся на ветру идолам пустыни.

Кто вообще насооружал все эти циклопические города посреди пустынь?.. Она говорит, что в этом Фениксе все помешаны на hiking (походы). Let's go hiking, I went for a hike, I been hiking my whole life и так далее. Охотно верю. Пустыня удивительна, познавать ее только ногами и текстом. О пустыне должно быть максимальное количество книг и стихов. Должно быть отдано пустыне, пустыня – это вход в память, врата на следующий этаж Музея, это бездна земли, сокровенная мякоть матери-Земли, вышедшая на самую поверхность. Здесь не место городам, такому количеству людей – я согласен быть тем, кем пожертвуют сегодня, тем более меня сожрал стыд и я должен испариться каким-то образом. Стыдно быть недомужчиной, стыдно быть тем, кого отвергли, стыдно – стыдно – стыдно, не стыдно только лежать час, не приходя в сознание, после сна и опаздывать на работу.

Ну а для начала: для меня грандиозной драмой было вообще полюбить замужнюю... Двойное проникновение, так сказать. Трахнуть ее и, конечно, трахнуть его. Он целиком и полностью останется жителем моего воображения. По очень косвенным признакам я догадываюсь, что он педераст или кто-то в этом роде, что брак их фиктивен, что любовь их, если и была, высохла, как истлевший кактус, еще за много столетий до меня; она давала мне призрачные знаки. Я очень люблю призрачность. В принципе, я тут проволакиваюсь через эту жизнь во



многим только для того, чтобы доложить о призрачности и доказать ее на собственном примере. Этот эфемерный (эфирный) мир должен быть рассказан, самому себе преподнесен как загадка и стихотворение. Чем чаще я о нем говорю, тем больше он существует. Каждый раз, когда я приступаю к письму, я зажигаю свечи. Маленький набор благовоний, кстати, подарила мне ведьмочка. А я семьдесят три дня выращивал свою страсть и семьдесят три дня ждал, вернется ли она. Не вернулась, и через эти семьдесят три я сотру все переписки, все письма и никогда не возникнет вновь повода надеяться, осмеливаться, зажигать свечи.

За завтраком утро превратилось в погожий ясный день, в Сан-Диего вечное лето. Сан-Диего – город-побратим Феникса, и гадкая мизогиния изливается в ее горло, когда я, отверженный и невинный, мщу последним, на что способен в старом опустевшем кинотеатре, в Фениксе, где нет ночью ни души, где все души убыли в пустыню возносить дары, воскуривать благовония: «Красивые женщины не пишут красивых глубоких книг. Расчерченный по двухмерной табличке сценарий с фокусом на пару актуальных тем – их удел.

Ладно, одну книгу из слоя старой боли, когда не было красоты, они могут поднять, но их красота не для того, чтоб писать книги день ото дня до кровавых мозолей на пальцах, и женщина не ставит себе задачу, ради которой не применима внешняя красота, нет, детка, если уж книга, то добываешь красоту из глубины, тебе должно быть в глубине очень-очень больно, и бур надо опустить в самые недоступные залежи, а ты, детка, слишком залеченная, ты так долго лечила себя, что все, чем могла быть твоя писанина, давно законопачено, и если ты начнешь вытаскивать породу, это будет полая, бестолковая порода, твое чтиво невыносимо, ты сделаешься через пару лет американкой, западной чикой, умело симулирующей при помощи маски эмоции, которых ждут при словах-сигналах, язык сам обманет тебя, ты не захочешь созерцать, твое тело прикует все внимание, зачем тебе наблюдать за пустыней? Я смотрел и слушал тебя, и меня обуревала похоть, вот я сжал тебя всеми четырьмя лапами, преврати меня в мужчину, но прошу, молю, не заставляй меня делать вид, что ты писатель, что я тут для того, чтобы восхвалять писателя, нет, я тут, чтобы заполучить ведьму, я охотник за волшебством, я охотник на тех, кто знает о превращениях и зазорах в смыслах, где происходит магия, я тут для того, чтобы наконец очнуться. Пробуди меня!»

Кот сыт, а я только сделал плоток кофе, и тело вскочило и бросилось в машину. Я распутываю одно из самых мрачных преступлений близящейся осени. В Сан-Диего действительно больше трупов, чем полагается солнечной песчаной пятючке. Я стою над пространством, отгороженным желтой лентой, где лежала она, черная уродливая туша, с желтой лентой в остатках волос, наполовину обглоданная рыбами, навсегда превращенная в черный безлицый мазут моего (под)сознания. Очередная жертва бездомности, капитализма, царства Силы, времени, правил Возмездия, неуловимого убийцы, которого я поймаю и уйду навсегда. Черный момент в центре вечного летнего дня всплывает на одном и том же месте, куда мы с напарником Дамианом возвращаемся, когда он соблаговолит наконец-то отцепиться от моих рук и дать продышаться, вспомнить, что вокруг не только смерть, но и лето, и время, и разлита прозаичная, одинаково пошлая от Анадыря до нашей прибрежной полупустыни бессмыслица природы. Прежде, чем я поеду нервно и со срывами описывать линию горизонта, разоблачать, как из нее могло выплыть нечто столь безобразное и необъяснимое, труп, обмазанный мазутом памяти, двадцатилетняя невинная нимфа, писавшая стихи из боли и красоты, не знавшая мужчины, кроме своего убийцы, и дальние полосы волн поеду описывать, я, в оправдание времени, которое застал и выбрал, обращаюсь к своей ведьме. Запоздалый спазм ужаса:

«Слушай, мне бесконечно стыдно. Знаю, ты наверняка не ответишь. Мне так стыдно. Я все испортил, и желаю тебе только одного: чтобы ты встретила подходящих, любящих людей. Так безусловно ты достойна любви... Прости, что смею писать это. Но, понимаешь, ты права – я действительно, оказывается, отравлен дикой страстью к тебе. Как в той книжке, помнишь, мы открыли случайную страницу, сфотографировали, запомнили. Там говорилось: „dependency on

the flesh...“ Так и есть. Несмотря на всю эту веру и охоту на духов, плоть ведет меня, я служу материи, я служу тому, чтобы завтра были еда и питье, чтобы завтра не замерзнуть на куске бетона, без привилегий лежать-медитировать меж шестью и семью утра, обращая безмолвие к богу-обезьяне Хануману. Да, я до крайности заиклен на себе, а из чего еще выращивать любовь? Все прочее, что не из меня выращено и полюблено, – обман, но возглас правдив: мне хотелось бы знать, что ты будешь счастлива! Пусть тебе встретятся лучшие люди».

И я застываю на день, на два, жду: вот появляются две чуть видимые галочки (люди будущего, со следующего этажа Музея моей ночи, не поймут, о чем речь, тут встанет вставка-примечание от редактора, и тем я соединюсь с будущим незнанием и пустым знанием). Значит, прочитала. Тянется время, и понимаю, что дальнейший вихрь зависит от фатума, от древнего договора, быть может... Если мы условились с нею играть дольше, чем семьдесят три, она ответит, и что бы она ни ответила – значит, вихрю кружиться, и у меня будет какая-никакая призрачная девочка где-то в далеком Фениксе, в воспламеняющемся, возрождающемся городе, в центре обильной пустыни, сонной и растерянной перед толпами жителей-пилигримов. «Никогда такого не было, и вот они откуда-то все пришли, прилетели, приплыли. Они что, сумасшедшие? – вздыхает американская пустыня, особенно в свои сорок июньских – июльских – августовских – сентябрьских – октябрьских градусов. – Что они, с ума меня свести хотят, какая тут жизнь, какое тут рождение детей?! Тут и воды-то нет кроме как на глубине, чем они питаются? Неужто эти экраны, непрестанно мерцающие, поят их?..»

Но договор оказался на семьдесят три: она никогда не напишет. Я всюду ее заблокировал. Просто чтобы не смотреть на эту ослепительную, воспламеняющую красоту. Пройдет сколько-нибудь дней или лет, все превратится во что-нибудь иное, красота в моих глазах остынет. Уже любая красота. Я буду знать. Я научусь молиться и всматриваться глубже. Dependency on the flesh... минует постольку, поскольку я уже в старших классах человеческой школы. Какая там зависимость? Все легче и легче. Да и тело мое делается все прозрачнее.

Дамиан подходит, когда я отправляю жалкое винящееся сообщение. Так хочется тут же отменить. Уж не знаю, что унизительнее, но я держусь. «Wha'da'ya think?» – кивает на черное опухшее пятно с лентой в том, что раньше было волосами. Рядом ковыряется криминалист, и я киваю ему: «Она утонула, это определено, – подает голос он. – Она была еще жива, когда тонула, но кто-то отрезал ей кисти и ступни». Чертово дело почти распутано. Я забираю ленту из нераспутанных волос, их некому будет расплести, оплакать, отхожу метров на тридцать и обильно блюю желчью. Я не ел, оказывается, с прошлой ночи. Только Дамиан замечает и кривится, презирает, курит напоказ, мол, я не слабак, я видел горы трупов, увижу еще столько же.

Мне противна пища, я ограничиваю себя в еде до такой степени, что тело пропиталось отвращением. Это странный повод наказывать себя, брат, подумаешь, зависимость от плоти, собственный член не возненавидишь. Тело противно, и скорее бы оно остыло и разложилось. Поздний январь, и послезавтра у меня собеседование в другой департамент машины. Ради этого я пересеку полштата и вырвусь на волю, они, видите ли, не знают будущего. Не знают, что через два месяца из дома будет немодно, неэтично высовывать нос. Да, надвигается черный силуэт из прошлого. Смерть вида. Такая же, как все в новом веке, почти игрушечная, ситком, не отделавшийся от закадрового смеха. Нам разыгрывать черную драму под натужный искусственный хохот.

Я еду в участок, заполняю отчет: женщина, семнадцати – двадцати лет, около пятидесяти пяти килограмм, грудь третьего размера, очень опрятная, очень округлая, чертова идеальная грудь, чертовы идеальные соски, розовенькие, выпуклые, сладкие, податливые... На меня все глядят, вытаращив глаза. Ладно-ладно, удаляю неправду. «Умерла от асфиксии, в воде. Ее завели далеко в океан, отрезали кисти и ступни и сбросили, обмотанную кабелем, на потеху птицам, дельфинам, рыбам. Чудовищная смерть...» – рутинно уточняю под скучающие взгляды. Следующей реинкарнации, если б память не была идеально исчезающим лучом

света, всегда рассеивающимся пропорционально прошедшему времени, снилась бы эта смерть. Вытаскиваю свою колоду таро и раскладываю на столе: восьмерка мечей – худшая, самая неприветливая карта колоды, перевернутая семерка мечей – плохой предвестник, пятерка мечей, тоже перевернутая – дурное поражение. Почему одни мечи? И все по убывающей?

«Смерть, смерть», – они трезвонят. Преимущество текста над жизнью: он-то хотя бы умеет играть со временем; переносит в те минуты, где что-то случается: где любят, ждут, убивают. Даже скучный рапорт детектива забирает тебя куда-то, а жизнь обычная, – хоть растягивай, как гармошку, хоть сдавливай, как тубик, – всю придется намотать на себя. Правда, ведьмочка приоткрыла мне секрет о времени.

Помню, как попал в ее хижину, как она показала, под черной клятвой тайны, коренья и грибы своей пустыни, кактусы, умеющие поделиться пульсом своего внутреннего движения, сердцебиением своего цветения, которые надлежит как следует чистить, отваривать, настаивать на алтаре и пить после заката. «Кактус любит ночь», – прошептала она. В отражении появилась сгорбленная, не утратившая сексапильности старуха, выросла в историю вместо цветущей волшебной девушки: «Я пришла в местную *nursegy*, просто на углу Market и Columbia, просто в ближайшую по пути, – нашептала, – и там был он, нарядный, из сердца пустыни San Pedro». Пожимаю плечами. Ну был и был. Ее черные глаза усмеваются, потом она по-восточному опускает взгляд, возвращается в отражение молодая обнаженная чаровница, я пропадаю в ее теле, я поглощен ею, я бессилен перед этой красотой и нежностью, в это невозможно не влюбиться. Ее запах заманивает меня в западню. Она первый человек из Туркмении, которого я встречаю, ее кожа белая и спелая, как цветок хлопка, ее красота заслужена тяжелой работой многих женщин, попавших в нижнюю советскую пустыню каторгой и эвакуацией. По ее рассказу – он посвящен трипу под MDMA – начинаю догадываться, что вещества пропитали и подчинили ее химию. Манит за собой, но я стою перед сокровенной комнатой в хижине. Не просто так я стал инспектором и ночи напролет машиной, как ножом, с напарником-полячком пронзаю калифорнийскую бездомницу, ищу развращенного убийцу. *Dependency on the flesh* будет побеждена.

Я прошу ее дать мне все, что было в пакетике. Она водит перед лицом тонким сладким пальчиком. Как же охота ее поцеловать, а потом оттрахать, превратив нас обоих в обезьян. «Первый раз, – предупреждает-учит, – не стоит кушать все». «Кушать» – терпеть не могу это слово. Я кушаю половину дозы и начинаю, как дурачок, ждать. Я в удобной пижаме, рядом на кровати она. Мы навсегда перестаем быть любовниками: отныне она Ведьма, с большой буквы «В», а я заманенный в ее хижину, в старый кинотеатр в опустевшем на ночь деловом квартале, страж. Мне не вырваться отсюда прежним, не превратиться в любовника снова. В глазах играют чертята. Я чувствую, что она оплела мою глотку невидимой ниточкой и вытягивает все, что я могу содержать. Никогда больше не вернется моя власть над ней, да и не было ее – в постели все обман, а между душами происходит настоящая игра во власть, а секс – просто дальний отголосок, еще и пародийный, в нем в шутку путаются роли женщины и мужчины, просто чтоб меньше отдавать физических сил. Я никогда не был властен над ней.

«Первый трип, – мурлычет. – Я тебе так завидую. Это как первый раз читать книгу, как первый раз...» Снова опускает глаза, и кровь у меня в паху вскипает.

Я точно знаю, что она имеет в виду именно это. Плоть.

Так что там о Сан-Педро? О, с каким восторгом и тайной любовью она прошептала про него. Пройдет семь лет, я буду лежать на камне, лицом к Млечному Пути, страсть станет мечтать о выходе из меня, вспоминать нашу с Ведьмой последнюю ночь стану, кинотеатр, полностью разобранный на составляющие части: остались стены лишь да пятно от экрана. На экране возникает фильм о нас: корешки, грибочки и другие тайны, которые она принесла мне, невинному, глупому стражнику, ее потаенная лачуга в бетонной глубине молодого города в глубине несказанной пустыни, не исследованной, как дно океана, и на полпроцента. Вдали огонь лагеря,

вдали вой койотов, фестиваль хаус-музыки, вблизи, подле камня, в третьей четверти ночи, уснут друзья, истощенные волнами мескалинового счастья, и камера останавливается на моем лице: вспоминаю ее, кактус выкладывает карты на стол: восьмерку, семерку (перевернутую) и пятерку (тоже перевернутую). Объясняет, что по-иному и быть не могло. Мы обязательно должны были повстречаться!

Она должна была подарить мне это. Я запоздало прощаю себе все и вижу, третьей частью путешествия: кактус объясняет логичность и неизбежность каждого узора жизни, каждой разложенной в ней карты и сцены. Время останавливается, и поэтому нет ни воя, ни музыки, и только камень, и только бесконечная любовь в теле, и только космос, ширящийся минута за минутой, по необъяснимому закону распространяющийся, забирающий память, все мои грехи; само время ширится и расплетает меня, слишком усложнившегося. Экран перестает быть экраном, кинотеатр прекращает быть греховным любовным гнездышком, она нанимает в полночной безлюднице такси, надевает на тонкий палец тонкое кольцо белого золота, едет спать под бок к другому.

Она снует по квартире, а время и впрямь замедляется. Начинаются медленные ласковые вибрации воздуха. Вот так, оказывается, мерцает не только каждая клетка во мне самом, но и в воздухе. Все мерцает, переливается и пульсирует любовью, кроме одного места. В самом центре моей головы бесконечная обременительная тяжесть. Такая же, как в паху, только неразрешимая. Она превращается в руку, дергающую меня, и я не чувствую ничего, кроме высвобождения. Я кончаю ей в ладонку так быстро, что даже не успеваю сообразить. Я вижу ее грудь всего мгновение. Она произносит своим грудным низким голосом: «Ты можешь попросить сегодня все что угодно. Это твоя ночь», – и тут же похищает мой трип. Я просыпаюсь, больше не high. Я съел слишком мало, лезу, еще не до конца исцеленный от любовной слепоты, за добавкой, пока она уходит в туалет отмыться, засыпаю в рот, но все тщетно. Еще семь месяцев пройдут, неспешно раскроются, и я пойму, что никакой мужчинка-любовник не смог бы усмирить ту меру любви, которую старый кактус-пройдоха дарит просто так, походя, просто потому что он бессилен, его срезали, освежевали, сварили и выпили.

Вот и весь трип. Я давно свободен и пуст, никакая структура не держит. В четыре раза короче, чем дорога за рулем из Сан-Диего в Феникс и обратно. Потоки беженцев валят вместе со мной из Калифорнии в Аризону: «Дешево, дешево, дешево», – как одержимые, повторяют, а я еду за любовницей, еду украсть ее у мужа. Внутри меня скребется черный червь, подкидывающий возможные причины, почему не страшно похитить ее: «Экономит на жилье, экономит на налогах, при чем тут семья, при чем тут любовь? Укради и насыться». Пока я еду, пляшет танец моя волшебная подруга меж сухих стволов и улыбающихся кактусов, экзальтированное цветение ей вторит, ритм прыгает по позвонкам, рождая счастье в основании позвоночника, простреливая из сердца подлинной любовью, там нет места второму танцующему. Но все же я еду, хоть червь во мне гневлив.

Плоть стала легкой, словно она извлекла то единственное семя, которое меня превращало во что-то по-настоящему твердое и тяжелое. Помню, как единственной сухой материей остался центр в голове, третий глаз-камень. Я жалко простонал и упал на подушки. Она что, сделала это со мной во второй раз? Мы снова сидим и читаем друг другу рассказы. Есть какая-то томительная интимность в этом, какая-то детская незащищенность. Вдруг стройность памяти подводит, я теряю ее конструкцию, попадаю в ловушку сомнений. Я маленький, я – ребенок; вижу себя возвратившимся в детскую комнату, на тридцать лет обратно, со мной рядом призрак моей никогда не пришедшей сестренки, и мне совершенно не хочется притрагиваться, вот так, грубо, по-мужски, к своей сестренке. Нет, мы будем играть и слушать Моцарта.

Она говорит: «Нет ничего лучше, чем первый раз под грибами слушать Моцарта. Я тебе даже завидую». All the way she's telling me she was jealous...

Конечно, на почве зависти и теперешнее убийство, разложенное передо мной в краю безнадёги, где нет маяка, куда можно устремиться, на почве зависти. Я, честно говоря, не верю в другие мотивы. Напротив меня очередной психопат, буравим его глазами. Напарник-полячок Дамиан стоит, сложив руки на груди, а я сижу. Мои плечи опущены, спина сгорблена. Я совершенно не похож на уверенного в себе, способного к броску, способного к убийству. Скорее психопат напротив полон сил и энергии. Нас поменяли местами? Кто кого допрашивает?.. Из комнаты выйдет только один. Дамиан худой и стройный, спина его пряма, а вот голова чуть опущена, как будто тонко вытянутая шея не может удержать ее, в синих глазах полыхает гнев, желание.

Нет, я веду скрупулезный дневник с тех пор, как мы познакомились. Приступами Дамиан вполз в мою жизнь, и я понял, что забываю о периодах, когда его не было, поэтому надо записать. «День первый. Я еще не знаю, что это день первый, я пишу на пятый день, по памяти. Сигнал, что приступу быть, появился с пятницы на субботу...», ну и так далее. Это мой тридцать седьмой очный допрос и семьдесят третий день в дневнике. Через пару месяцев мы станем, как конченные дебилы, сидеть в намордниках и пытаться по глазам угадать мимику подозреваемого. Все преступники станут уходить от наказания, потому что без чтения лица я не вижу ничего. Но пока угроза только бренчит холодными бубенцами, тянется чертов январь-январь – месяц, когда расколола и сожгла мое сердце Ведьма, когда отдрочила без любви и признала его не заслуживающим дальнейшего интереса – и я читаю по лицу безошибочно: убийца.

Только вот он не наш убийца. Слева усаживается другой псих. Белый как лист бумаги, в белой тесно застегнутой до верхней пуговицы рубашке (кто в чертовой Южной Калифорнии носит такие, кроме них?) белый адвокат. Говорит: давайте закругляться, лето не заканчивается, у меня серф-борд готов, скоро закат – дни нынче особенно коротки, – я хочу ловить волну, а не вот это все. Лето не покинет этой комнаты, пока мы не решим, мистер. Я бы мог быть таким, как он, почему нет? Я всеми силами гребу ради этого, разве что мелирование не сделал. Он сдавленно бормочет, будто у него трубка или член в трахее: «Мой клиент находился на верфи, на своей ночной смене, есть шесть свидетелей, способных это подтвердить, это не ваш парень, ребята, вы, как всегда, объебались». Я киваю, но продолжаю буравить черноту взглядом. Он точно убивал, я вижу в его глазах. Он убивал меня. Не в этой, конечно, жизни, но однажды – он уже убивал меня, и сегодня могу убить его я.

Вообще-то, странно – делюсь с Дамианом во время перекура, – что полиция отказалась от своего права насилловать и пытаться. Теперь я гораздо лучше понимаю коллег в России, которые пользуются слониками, бутылками и старым добрым групповым изнасилованием, чтобы уйти домой, закрыв дело. Пожалуй, если бы я знал, что силой могу прекратить любое дело, – я бы заканчивал. По умолчанию, это самое естественное, что делаешь, когда получаешь в распоряжение силу и безнаказанность. Столько дерьма тянется изо дня в день, перетекает в следующие недели, создает потом несмыслимую память, стыд, невроз. Я чувствую этот тяжелый, уводящий ритм, который забирает меня на самое дно. Чем ниже, тем лучше – теперь уже перестало казаться по-другому. И кажется, что если бы хоть одну проблему решить силой, плетью, выстрелом – например, проблему сраного маньяка, в белоснежной одежде, с белоснежными зубами, с белоснежной кожей, с черной как сажа душой...

Все бы наладилось. Мы с Дамианчиком бродим по верфи. Где все чертоты люди? Стоят неподвижно гигантские хитиновые панцири кораблей, отсоединенные от внутренностей. Помню, как меня спросили тогда, тоже был январь: «Ты что, был attorney в России?» – «Ну да». – «И ты хочешь пойти работать на верфь? Хочешь заниматься сваркой?.. Знаешь, это очень тяжелая работа, физическая работа». Короче, они ни черта не понимают в американской мечте, и меня не наняли варить швы на панцирях кораблей. Иронично: теперь я иду, сверкаю своей белой рожей, по той же верфи и ищу хоть кого-то, кто тут работает. Огромная масса металла безо всякого присмотра. Где-то очень высоко, в пятидесяти метрах над нами,

летят искры. Дамианчик бьет по кнопке, и мы дышим в открытом лифте. Два детектива против правил... Невероятно медленный подъем, бутон города из дымки всплывает перед нами. Мы дышим прямо в сторону таблички «курение запрещено», Америка, але, мы не отсюда. Польша и Россия против всех. О нас снимают кино – осветительные приборы светят нам в рожи, и по ним течет черный пот усталости и злобы. Ждем, чтобы кто-то нам сделал замечание, но лифт поднимается так долго, что к тому времени, как мы оказываемся на верхнем ярусе, сигареты потухли. Давно стемнело, пока мы поднимались, давно наступил рассвет...

Я выбросил в пропасть, Дамианчик педантично спрятал свою в отдельный портсигар – саркофаг для бычков, у него паранойя на тему генетических материалов. Он думает, что сумеет укрыться за вуалью невозможности, немыслимости существования призраков меж обычных людей. Искр давно нет, когда мы достигаем вершины. «Где все?! – ору. – Где все?!»

«Это был мой тридцать седьмой допрос», – зачем-то я сообщил это Дамиану. Я заканчиваю на этом. Мы не особо дружны. Если честно, мы вообще не друзья. Это главное, что я ненавижу в своей работе – надо постоянно взаимодействовать на горизонтальном уровне. Меня ведь спрашивали на одном из тестов: «Вы team player?» И я изобразил свет в глазах, искры, белые зубы: «Ya-ya, of course! Oh, I love teams. You know I used to be a boy scout. I used to be a head of patrol, I used to be seduced by my scout master... – Жуткая, леденящая дух пауза, глотаю воздух под одобрительные, ничего не вмещающие кивки... – ‘Kay, ‘kay, I’m just kidding», – и мы хохочем как не в себя. Ой, как же это смешно. Нам в полиции разрешают смеяться над всеми этими левацкими замашками, над уравниловкой, над сезонным заигрыванием политиков с геями, черными и бомжами. И даже над доносами от постаревших наркоманов разрешают в кулачок похихикать: кто, кого, где, когда, как, при каких условиях, за что и почему лапал, или трахал, или убивал – ведь в полиции-то точно знают, что все лапают, трахаются, изменяют, пристают, засовывают, демонстрируют, будто одержимые, и копы лучше других знают, что если бы не возможность спустить гнев и ужас на кого-то живого, то половина города вообще не вылезла бы утром из постели. Другая половина и так давно не вылезает: нюхает, или курит, или пуляет в вену – наши постоянные клиенты, – а те, у кого хотя бы есть либидо... Ну, без них этот мир вообще бы не крутился.

Но я out of this shit. Я ухожу из большого желания. Ведьма мне все показала. Всю никчемность моих попыток. Нет, я натурально проклят, и мой путь – это дорога в тени. Сумерки приближаются. Дамианчик, это был наш последний допрос, я хочу счистить с себя, соскоблить все это дерьмо, вернуться домой чистым, чтобы лето закончилось хочу и чтобы грянул мороз, я хочу замерзнуть и простудиться на чертовом, бесславном русском морозе. Мы опросили пять свидетелей: все укурки, как на подбор, точь-в-точь как сам подозреваемый, и все, потупив красные глаза, сказали, что он работал на верфи. Шестого не нашли, а написали, что нашли. Дамиан сказал, что не поедет сюда. Чтобы укурки не расслаблялись, мы не поехали в участок, пусть посидит еще ночь в клетке.

«Он точно убийца», – бормочу, но Дамиан курит безразлично. Плевать ему, у него какая-то своя чернота. Правда, он уже на правильном направлении, он возвращается к свету. После завтра мне ехать на север. «Чем займешься, пока будешь один?» – я спросил его, как будто мы муж и муж. «I’ll do something else», – пробормотал Дамиан.

Меня что-то заводило даже в наших отношениях: как будто он постоянно норовил меня отталкивать.

Мне казалось, что в этом есть подозрительная, будоражащая драма, как если бы он хотел меня, но полностью исключил такую возможность и томился, как томятся миллиарды возможностей в этой сыгранной нами реальности... Зачем все это? Бедного Дамианчика завтра без меня подстрелят. Непонятно, за что, но будто бывает смерть «за что-то». Пока я буду гулять, чуть ли не под ручку, с психом и раскручивать совершенно другую историю, – бедный мой белоснежный Дамиан будет плакать, и стонать, и истекать кровью.



К счастью, в этом море крови он не пропадет. В другой реальности, с другим напарником, любовником, другим днем и часом, – умер бы, а в нашей, серой и тоскливой, живущей под надзором дьявола, – он только очень долго плачет и истекает. Утро я провел у его койки. Нашего психа отловлю, это дело чести теперь, это дело – живое, как книга. «Книгой» называют теперь все что угодно, книга – это перешеек в песочных часах, место перетекания космоса в космос, в хорошей книге не может не найтись демона-черта.

Он проник в меня еще так давно, когда я понятия не имел, сколько в нем темного притяжения. Люблю эту аналогию: узнавание объектов по косвенным воздействиям на них иных сил; мы выясняем, что есть где-то планета, или звезда, или прогалина в космосе, за счет воздействующих на видимую материю искажающих сил. Но и с людьми так же: на целое созвездие моих друзей оказал влияние тайный образ, тайный дух, и я должен был скинуть и забыть этот дух, но я окроплен кровью.

Ну а пока я мчался: как и в большинстве своих дней – через долины невежества, в слепом самодовольстве. Видимость была отличной, солнечный день, но я ничего не видел, и очень бедная земля была справа-слева, отполированная и выглаженная ветром. Я тщетно ехал на восток, в пустоту человеческую. Есть там люди, но не мои, я оставил своих людей, чтобы проникнуть в край чуждых. Целую жизнь следует готовиться к подобному странствию, а я собрал рюкзак за половину утра. Исчезли подлинники путешественники, нет уже пустот и неведомых краев. Мы знаем все, что будет. Нет тайны: все написано, мы знаем, что нас ждет, можно по гуглулицам прогуляться и посмотреть то же самое, что завтра увидишь своими глазами. Выходить из комнаты нет даже символического резона. Смысл есть только в сидении дома и молитве.

«Ты вор?» – переспросила Попутчица. У нее интересное было свойство – у той, которая наведет меня на нашего парня, – умение спросить заинтересованно, но не интересоваться сердцем. Мы мчались, это так странно, в пустынной октябрьской пустоши, я гнал свою лошадку ради нее. Между Калифорнией и Аризоной лежит земля Сонора, формально она принадлежит обоим штатам, но это обморочная пустота, не нужная никому, через нее выются под ослепительным небом раскаленные гусеницы товарных поездов и пара скудных дорог, по одной из которых летит и моя машинка, сминая обочины в однообразные рисунки на полях страниц. Было это в то утро, когда я проснулся мужчиной и не стало причин спрашивать «кто я?», «где я?». Таких дней за всю жизнь было сколько? – Полдюжины? Меньше?..

«Я вор, – эхом повторил, – неоригинальный вор идей и смыслов. Ничего своего я не создаю, но у меня есть талант заигрывать в словах чужие концепции и мечты. Я ворую знаки и намеки, которые подают мне, и вместо того, чтобы напитать ими жизнь, все сношу в книжку, всем удобряю ее, будто она почва, из которой я прорасту, когда, потеряв из виду путь, пропаду сам, как тело, затеряюсь в земле и воздухе. Я краду у снов зыбкость и бессмысленность и выстраиваю, словно была в ней задуманность, смысл и замысел, ворую у святых книг твердость намерения и надежду на высшее, будто в книге будет высший наблюдатель, делающий ее Книгой, маяком в превращениях тумана. Я вор». – «И книгу ты своровал?» – уточняла она с пустошным безразличием. Кажется, не ответил. Мне нравилось, как бродит рука по ее ноге, от жары почти испаренной, и ни о чем не мог говорить испаренным языком, как только лишь о том, чтоб еще раз стать поздней ночью, в забытой деревушке, мужчиной с ней. Пузырилось во мне чувство, узоры тлели над нашей крышей. Я как бы превратился в невинного: просто работник на отдыхе, встретил новую подругу, влюбился и везет ее теперь в даль пустыни.

Язык выдает, кем я уехал. Он умрет, как и остальное зло, преградой перед которым я встану. Всю свою жизнь я должен был только вставать преградой перед злом, ничего другого. Попутчица заводит меня в край, где я увижу одну из самых больших мер зла. Другие встретят гораздо больше, а я встречу свою меру. Там я еще не помышляю о роли детектива: думаю, что так и отсижусь в дальнем тылу, в аналитичке, где есть рабочие часы и внятные выходные, где ничего не надо делать, кроме пяти однотипных таблиц, где мне платят, кажется, только за то,

что я существую – гнилая мечта левака. Я гнилой левак там, на кредитной тачке, Попутчица безжалостно вводит меня в расправивший огненные крылья город. Мы с Ведьмой понятия не имеем, что ходим теперь по параллельным улицам, фотографируем параллельные бетонные каньоны со стеклянными глазами, что даунтаун Феникса вымирает вокруг кинотеатра, назначенного уже стать нам общим, – мы не догадываемся друг о друге. Времени еще нужно много песка пропустить, чтоб сплести все в наш узор, пока мне выдана Попутчица, и Феникс на следующий день впустит нас. Но люди в самом деле всегда идут к своим убийцам сами. Незримые пути связывают убитого с убийцей. Так я смог примириться с неизбежностью, невозможностью того, что человек убивает человека.

«Ты вор...» – бормочет Попутчица под нос, но я вижу, что ее вообще-то мало волнует моя судьба.

Член и тот произвел больше впечатления. Весь этот водопад слов, что мы пролили при встрече, был не о том, чтобы услышать или научить, – вот, годы спустя, я не помню ни одной темы, которую мы обсуждали.

Кажется, я стою теперь там же, в той же комнате, да и час тот же: примерно в полночь она добралась до меня. Попутчица спросила: «Подвезешь, ковбой?..

Мой прицеп накрылся, мне надо в город. Я сепаратистка, мне нельзя связываться с государством», – добавила невпопад, когда я выруливал на дорогу с обочины, молча забрав ее. Затащил к себе в пещеру, в свою мужскую пустую душную дыру посреди земли, а перед этим, под надувшейся луной, мы стояли, по щиколотку в океане, я остановил в Эсинитасе, тридцать минут от моей дыры в земле, городок богатых мамочек и серфящих наследников. Понятия не имел, какая фаза Луны и какая фаза прилива приготовлена, просто свернул показать ей, она не из этих мест, она из долинных, пусть же увидит большую воду и блин спутницы Луны, ломающийся, как печенье, по гребешкам почти остановившейся хмари. А был *deep tide* – это когда вода отошла далеко, и можно прошагать от берега чуть не на сто метров, по влажному песку, переполненному зарождающейся жизнью: крабиками, черепашками, лангустами, а может, и дальше могли пройти, и все будет ярким и светлым: огромный лунный прожектор в памяти разрастается до таких величин, будто полнеба им накрыто, и Попутчица дрожит от благоговения – в долинах не бывает таких тихих океанских вод, и таких лун, и таких попутчиков.

«Благодаря океану узкая полоска пустыни тут продувается и делается холодной, выпадает конденсат, залетают ошметки шторма, побережью достается несколько недель дождя», – умничаю перед новой знакомой, мне нравится, что она принимает все, будто ребенок, будто чудо, будто в первый раз будет у нее и у меня. «А так, сорок миль отъезд направо, в смысле на восток, и задохнуться можно. Там лето в разгаре и сейчас». Ее впечатляет, а завтра мне праздновать трехлетие в Америке, а завтра она уволочет меня в сердцевину пустыни Аризоны, в зону ариев, где из дождей нам повстречаются только вихри пыли и звездопады. Три года, как я оторвал себя от корня, благодаря которому шло внутри меня течение естественного смысла. Я все еще жду, что по совокупности заслуг или по милости Божьей проснусь однажды и увижу себя в этой реальности, где я сделался одним из них, где врос новым корнем в новую почву, но, впрочем, калифорнийская земля так бедна!.. плохо растет в ней посев, больное и усталое дерево, тем более без полива, и чахнет редкий куст на тенистом склоне, когда брат его на обращенном в солнечную сторону склоне давно иссох, стал полом и стенами птичьего гнезда. Мне каждый день надобно просыпаться в какой-то реальности, где можно хоть как-то назвать себя. «Я русский писатель, я эмигрант, я мужчина, я коп, я кришнаит, я любовник Ведьмы, я ведьмак, превращающий девушек в ведьм и превращающийся в их слугу на исходе дня превращения», – можно спятить, если утром не вспомнишь, какая из одежек ты сегодня, а корень не проникает в эту землю, и уж три года, пока Попутчица не угодила в мои лапы, я не знаю спокойного пробуждения.

В полночь, закончив обсуждать, что делает пустыню пустыней, а прибрежную калифорнийскую линию – подделкой под Средиземноморье, – мы оказываемся дома, я занимаю центр комнаты и пытаюсь медитировать. Я говорю: думай о цифре, а я попробую ее «прочитать». Я не угадываю ни одной. Она загадывает «шестьдесят три», а я говорю «девятнадцать»; она загадывает пять – я «слышу» девятносто; наконец, я пытаюсь использовать ум – ее день рождения седьмого числа седьмого месяца, и я восклицаю: «Семь!» – «Нет, – качает головой Попутчица, – я загадала тридцать три». Возраст, когда ты превратишься из предыдущего человека в американца – возможно, в безликое нечто, ведомое непроходимой тупостью и невежеством. Но не будем о плохом. Возможно – превратишься в святого молчуна, свободного от смысла, развязанного, вольного, способного подняться над несвободой, проданной другим американцам под брендом «наша свобода». В конце концов, это вечер невинности, вечер чтения мыслей. Я пью с ней вино, я курю с ней косячок, я чего только не делаю и чего только не говорю, и все это – вокруг вращающегося электрозаряда, который прострелил нас и обрек быть противниками и друзьями.

Вместо цифр я прочитал в ней желание не спать подольше. Говорю: «Ну все, пошли», а она не идет, просит погасить свет, оставить лишь мутный свет настольной лампы, и тут узнаю, что попался, бормочу беспомощно после многочасовой болтовни единственную правду о себе: «Я хочу тебя поцеловать», – и слышу, как над нами хохочет половина зрительного зала. «Знаешь, однажды я тщетно писал книгу с неясным адресатом: „Understanding what is like to be a Human. A guide for our Guests“». Говорят, существа из прочих измерений (то есть все остальные) очень смутно понимают, что мы думаем, чувствуем и как воспринимаем время и пространство, и главное, почему совершаем все это. Для них я скрупулезно записал на английском черновик великой расшифровки – книги, не ставшей ничем, кроме как удобрением почвы. Целой книги, написанной, чтобы удобрить эту почву, пустить себя в нее. Целую книгу... Я целую Попутчицу.

Поцелуй длится, пока мы не оказываемся на утомительной, однообразной горно-пустынной трассе номер восемь, пока не находим себя в вонючем городе-полустанке, я не могу больше давить педаль и ехать, и необъяснимая вонь забирает на ночь в гадкий липкий неизбежный сон. В липовой тенистой аллее я целую ее, прижимаю к себе, как котенка. Попутчица оказывается мягкой, будто мучная куколка, и чуть не исчезает. Она ошетилившаяся и не верит, что я действительно восхищаюсь ее красотой и люблю ее красоту. Нет ей пристанища, она не допускает для себя дома, пещеры для уединения, это роднит нас, – настолько мы ненавидим самих себя, что еще не приспособлены ни для чего другого, кроме как сталкиваться и расходиться.

Я вор, хоть я и не знаю, что краду и ее тоже у суженого, того, кто расчертит ей сердце ржавым гвоздем. Это паттерн: краду ведьм у простачков и вселяю в них огонь дьявольский, после такой трансформации другого превращения не будет, обратно в женщину не вернуться, я лишь слуга их превращению, и ухожу, сослужив, для следующей работы собирать силы из песка и почвы. Как ребенок, он невинен в своем делании зла: просто не знает, что в его руках сердце, вернее знает, но для него сердце – даже не мышца, а плюшевая игрушка. Он водит гвоздем по сердцу моей Попутчицы, и боль, которую я могу ощутить, лишь бывая с ней, заводит в глубины пустыни, меня как на привязи ведет следом, хотя это моя машина и моя страсть снабжает нас топливом, чтоб ехать по восьмой трассе на восток. Вот такой он сумасшедший, и из всех людей она выбрала такого, нашла, помчалась, через море и землю, но почему-то приземлилась в моей пещере, в моем утре.

Прежде, чем пить, или курить, или болтать бесконечно, я замолкаю перед нею в асане. Она отвечает на мой вопросительный взгляд. «Я тоже умею в йогу», – горделиво говорит, с пренебрежением, с удивлением.

Ее лицо теперь наполовину смыто: я вижу отблеск, делающий половинку оранжевой и невинной. Я превращаю эту встречу в стихотворение, я бормочу бесконечно, нет толку лгать.

А она поэт – присылала стихи, – я в ответ свою прозу. Детскую, едва вставшую на ноги. Меня распирает гордостью: первое признание, бокалы узнавших, услышавших мое имя, под которым я рос, пока не вырезал себя под корень, чтоб пересаженным быть туда, где корня не пустить; и предки, люди куда красивее, много работавшие на благо будущего, которое наступило с приходом первого шелеста славы, с приходом первой воплотившейся рукописи, благосклонно косятся с оцифрованных фотографий, с увядших могильных плит: что-то ценное я снес к их недвижимым престолом, но они-то, по крайней мере, навсегда в земле, стали частью плоти плодоносной нашей земли, той, что я покинул, кинул, предал. Снится, как заговорили этот осколок души: к губам прикоснулось полдюжины указательных пальцев, и полдюжины голосов прочли заклинание, предвосхитив все, что выпадет написать, – а это, как ни крути, очень много вязких строк и абзацев – а половина теперь потерта и потеряна на компьютерах и на ненадежных виртуальных облаках, четверть никогда не высказана, высосана ленью, пятая часть истлела в детских тетрадах-попытках, – итог, превращается в оконченное слово лишь крупица, но это расслышано, и вот я могу Попутчице своей указать, что больше я не бессловесное место, а имя, я превращаюсь в фамилию, а фамилия растет из великого корня, из рода и тысяч попыток стать будущим. Нам досталось время для чего угодно, для всякого извращения, оно наше – только не для того, чтобы горевать и быть несчастными.

А с друзьями следует переписываться умной речью. Это потом издадут – по-другому невозможно – и белым стихом прозовут. Вот нас шестеро за столом, хотя, когда я представлял себе, – думал, будет больше, но вот все сложено в будущем, и нас шестеро, и один потеряется сразу, пятеро останутся: двое сделаются друзьями, а потом врагами, двое сделаются любовниками, а потом мужьями, а я один сижу, я в центре пятерки. Я всегда один, в центре, и в этом нет ценности, это данность, в этом нет ростка гордыни, однажды надо взглянуть на вещи так, будто случилось это все не со мною, не в моем единственном космосе, не проводящем ни звуков, ни тепла, признать: здесь будущее, оно наступило, здесь род ставит точку, взваливает невероятный груз на плечи одинокого, но только он пришел сюда не для горести, так что никогда не горюй. Всегда наблюдатель, будто это я поэт, а не добрая Попутчица – но я не пишу стихов, я пишу только рассказы: самозабвенно, будто могу однажды что-то выдумать, чего не встречалось на исследованных мной планетах и астероидах; выдумываю постоянно, иду с неискренними намерениями в чужие космосы и не признаюсь в том, что затаил за спиной, сжатым в кулак. Любая воплощенная книга в конечном счете – припорошенная правдой ложь, – я протаскиваю частичку подлинности в усложняющееся, многослойное искусство, это искушение, это вязкий танец ума посреди умом не облицованных образов.

«Я вор», – рассказываю, как извлекаю, внимательным прищуром просматривая, неизвестные мысли неизвестных людей, слишком несоединенных с собою, поэтому никогда не записавших – это их книги я записываю и за свои выдаю. Мне постоянно кажется, что я ворую не только книгу, но и славу книги. Будто была когда-то у меня какая-то «слава», будто она вообще существует, будто она вершина, куда можно подняться – все это вздор. Впрочем, Попутчица зевает: я для нее простой, и скучный, и слабый. Она переспала со мною ради мести, а для меня это событие галактического масштаба, и я скрываю по привычке. Она моя первая женщина – после моей первой женщины, бывшей после моей невесты, которая на «до» и «после» разрезала жизнь. Как жаль, что книга не рассказывает жизнь, а только историю. Расслаиваются рассказы, герои – меня утягивает по единственно возможному тоннелю истории, я ей ведьмак – создатель и слуга Ведьмы.

Рядом в этом полустанке, куда случайно завела нас история, другие слепые старательные шахтеры в своем ритме, на своем наркотике раскапывают тоннель. Конец мира придет, если однажды мы прокопаем всю землю и останемся в огромной, как гномье царство, зале (ненавижу, вслед за мамой, крестьянское «зала») из речи, из историй, и мы укрепим своды раскопанной почвой, потеряем путь наружу, а потом и память о том, что было что-то вне нашего

подземелья. Как настоящие гномы, зайдем так далеко, в кропотливую работу над полостью в сердце горы, чахнуть станем над золотом, усыпляя понемногу в себе силу. Следующие люди станут раскапывать эту гору (для них – тривиальную гору книг, папирусов и скрижалей), извлекать на поверхность кубышки с подземным воздухом, крутить на свету и цокать языками: «О, а это неплохая история», расставлять на полках по градации от «великого» до «бессмыслицы» творения предков-дикарей, от бриллианта до черной, ничего не стоящей истлевшей породы, расставят немногих найденных, а некоторых даже изобразят – тех, кто в янтаре запечатлелся. Так кончится добровольное заточение зарывших себя в железное царство.

Железная гора есть и в полустанке, вобравшем нас с Попутчицей на последнюю нашу ночь. Прорыты шахты и тоннели рабочим людом и роботом-разведчиком. Понемногу, пока движется разведка, человеческий труд и здесь дешевет настолько, что выгоднее использовать человека для потребления соцсети, чем для утомительной геологической работы – справится машина. Я очень неумел в этом деле, хотя вообще-то и чувствую многое, чувствую ее тело, она вырастает спиной в мою грудь и живот, и мне надо только держать подольше и быть с ней, и держать ее за тонкие испачканные пальцы, и она тоже держит меня, и постепенно даже самая ленивая страсть вырастает в обобщающий космос, из которого вышло все с первым взрывом и куда вернется после многих огненных спиралей расширения. Ты не нуждаешься ни в объяснении дыхания, ни в страсти, ни в покое, потому что дышишь перманентно. Нельзя объяснить мысль, потому что та снует без передышки, и тяжелым трудом бывает узнать, что ты – вовсе не мечущаяся в черепушке обезьянка. Гномы-писатели едят землю, запихивают ее в себя, чтобы превратить малоценную почву в драгоценный камень, чтобы появился просвет, затем тоннель, затем зала, затем царство и, наконец, бездна – забвение.

Железная гора – это единственная возвышенность тут на десятки горизонтов вокруг. Мы попали в ее тень, съехав с восьмой трассы на полпути, истощенные знойным днем и однообразием разговора. Свернули, чтобы помолчать на противоположных краях двух унылых мотельных постелей. За горой – очередное море пустоты, где камни, никогда не встречавшие прикосновения человека, но однажды и пустоте приходит конец, и за долиной встретит нас город Феникс. Я везу Попутчицу, чтобы она встретилась со своим L. Они встретятся на жалких полтора часа – зачем я вез ее столько дней и столько слов пролил между объятиями?.. Уже с утра меня скрючивает приступом ревности. Казалось, еще утро назад мы извивались, как две змеи, в любви, в единстве, а теперь она отбрасывает меня ненужной чешуей и уходит, словно я не знал, что всегда был средством транспортировки в объятия любимого, который причинит ей настоящую боль – не то что я. Мне она не нужна, свой удел я знаю, однако спазм жадности силен, я слуга желаний, я желаю полностью обладать, превращать ее, чтобы служить ей, чтобы потом проклясть ее и сбежать от нее обратно в прохладу побережья.

Прямая дорога по Аризоне стелется до горизонта, подрагивает синевой жар, скопившийся под негостеприимным космосом, мы летим точнехонько на восток: прямо против хода моей БМВ поднимается солнце, диск его колеблется и волнуется, словно это Юпитер в кольцах, и он непропорционально огромен, словно мы в кино. Я вскакиваю. Ее потное маленькое тело на другой половине единственной мотельной постели. Вдруг это тоже сон во сне? Я принимаю душ и дрочу, чтобы не лезть к ней больше. Выходя, я сталкиваюсь с ней, она ударяет по моей груди ладошкой – это что, так с мужчинами здороваются их женщины, когда мы становимся мужчинами?.. Что-то, кажется, бормочет под нос, но я не слышу, не открывает глаза, хотя лампы мотельного верхнего освещения горят ярко. Я не открываю жалюзи, там за пределами комнаты подлинная американская пустошь. На много сотен миль стелется земля, не годящаяся, кроме двух месяцев прохладной весны, для жизни, и мы все живем здесь, вне овеванных живой океанской прохладой побережий, – уже искривление, эдакий своеобразный post-modern art. Postmortem art.

«Последняя декада эпохи Возмездия, – говорит экскурсовод в очках в тонкой эластичной оправе, девушка на шпильках, девушка с одним глазом, девушка две тысячи двухсотого года от Рождества Христова, девушка-смотрительница спроектированного мною третьего этажа Музея, – характеризовалась обильным расселением людей по непригодным для жизни районам: например, восточная часть пустыни Мохаве. Прозаик-гном К. в серии очерков „О путешествии из Сан-Диего в Феникс“, написанных приблизительно в две тысячи восемнадцатом – две тысячи двадцать пятом годах, говорил об этом так:

„За день солнце переходит от левого горизонта в правый. В первой четверти движения мы завтракаем и обсуждаем ненавистный ручной труд, который позволит нам обеспечить себя наркотиками, водой и пищей на следующий месяц, во вторую четверть движения солнца мы запираемся в кондиционируемых помещениях или машинах, и рубим, бурим, ломаем землю: камни, пустую породу, сокрывающую сокровище, ее брюхо, ее красную внутренность. Тут мы извлекаем энергию Земли, ее черную кровь, ее красный капилляр, ее зеленую энергетическую тягу, ее синюю кость, ее розовый жир... Я работник по розовому жиру, я глажу свой розовый живот, в промежутке между второй и третьей четвертями движения солнца я ем розовую еду, дышащую нездоровьем, и мой желудок способен это даже переварить. Так странно, я ем мясистое розовое хрю-чево, состоящее из яда и воды, и чавкаю, и прошу прибавить вкуса, и мне кажется – они (*они*) – *обобщающий конструкт, который внемлет всем мало-мальски серьезным просьбам.* – *примеч. экскурсовода*) добавляют новых вкусов, запахов, моя жизнь начинает пахнуть не только иссушенной мертвой пылью, но и живым жирным мясом, хотя я ем одно и то же: хрючево, составленное из ядовитой подделки под мясо, растворенной в самой дешевой проточной воде из ближайшей канавы. Оно целиком состоит из переживания ужаса животного. Ужаснувшееся животное родило перепуганное дитя, в него сразу воткнули (в анус, в сосцы на вымени, в язык) по четыре трубки: две тонких, две толстых – и, хотя оно еще еле стоит на дрожащих ногах после родов, его уже рвут на части новой сессией выкачки энергии. Все ради удовлетворения моего голода, и я жру ужас день за днем, час за часом: бургер, стейк, котлетку, тефтельку, сосиску, колбаску, шашлычок, пельмешку (я все-таки русский крестьянин, пусть и в странноватых, непригодных для жизни североамериканских обстоятельствах – но жив ведь, следовательно, это литературное преувеличение насчет непригодности, или?..), я пузырюсь от жира и страха, присваиваю себе власть над органами, через которые протекает работа по перевариванию и осмыслению яда, который попал в меня. А на третьей четверти солнечного движения, когда оно начинает катиться направо, когда обед и послеобеденные разговоры, и отрыжка, и получасовое восседание на толчке с порнографическим журнальчиком с белоснежными красотками из северо-восточной Америки, далекого кленового Мэйна, который мне отсюда не представить, – когда все позади, – вздыхаю, сплевываю, снова сажусь в машину, ковыряю землю.

Это так отвратительно, что все познания о моей миссии и «цели в жизни»<sup>TM</sup>, о которых на седьмой день пастор рассказывает на мессе – вон моя церковь, на другом пустыре, с противоположной стороны восьмой трассы, которую пересекают в день шестнадцать тысяч частных автомобилей и десять тысяч рабочих грузовиков, – все эти познания спускаются в туалет вместе с жиром и ужасом, добытым из жира. Животные пасутся, кстати, под тенью горы, им и то выделили город лучше, чем нам: у них случается в первой и второй четвертях тень. А мы и четвертую четверть проживаем без тени. Работа может закончиться, а может нет. Много работы – это хорошо. Но напряжение не закончится никогда. Я знаю, что с четвертой четвертью приближается мой час дунуть через продолговатую стеклянную трубку (*they call it bong, although the name bong now is almost like a rude one, the seller would laugh at me if I tell'em like, hey sell a bong, he'll then explain to me that yo dude, it aint' called bong anymore here brother, ha-ha, doncha know? Why's that – asks he when I get surprised, well it's because it aint' good for one to say bong, brother, it's almost like bang-bang, it's almost like as if you'd say, hey I'ma about to*



smoke a fucker device, you know, cause bang-bang means fucking a woman, like you know, we ain't fucking women here anymore, we are to be respectful, yo! You ain't like that I guess if a guy told you he's fucking your mom, or would you, bratha?.. Nah, don't look at me, you would not! I know for granted, pal, that you'd know, we now say here – we do LOVE with a woman, alright? So same here, we ain't smoking over the bong, we're smoking over a lover's tube, you got it, ha-ha-ha. Here's your bong, pal, I was just kidding, playing with you, pal, got it? Got it or not? Cmon now, it's ninety buck, brother, and I wish you well fucking any lady around here you like, just pay me the fucking ninety, brother, that's it.) Дуть я буду либо завозную травку (в искореженной нами земле уже и травка не прорастает, а в воздухе столько смерти с бойни, что она увянет, если я привезу ее из Сан-Диего), или завозной метамфетамин. Еще одна такая смена, и у меня повываливаются остатки зубов, а легкие закупорятся. Никакой пляжик или океан уже не помогут – тело, выданное мне в управление для познаний, наслаждений, обработки информации, прорубания через полую породу бессмыслицы, угасает здесь быстро – вот о чем я думаю, когда каменею на диване в своем living без сил пошевелиться, обдолбанный по самые брови. А приятель мой в ночную смену строит дорогу в никуда. Сосед приходит со смены в пять тридцать, когда меня чуть отпускает и близится моя смена, и принимает эстафету, и называет ее road to fucking nothing – вообще-то, это дорога к бойне, новая, четырехполосная, по ней будет мчаться в одну сторону убийца, а в другую – грузчик ужаса, и жрать будут оба, и чавкать! Здесь, в пустоши между Аризонай и Южной Калифорнией, солнце светит триста тридцать дней в году, но мне кажется, тут всегда сумерки: во-первых, в моих снах всегда сумеречно, даже если светит солнце – все как будто показано через черную линзу, запятнанную копотью, или через тонированное стекло тачки, во-вторых, стоит вечным столпом пыль от нашей гномьей работы, а мы работаем, чтобы ты понимала, триста дней в году, шесть дней в неделю, пока не сломаемся, в-третьих, в воздухе столько коровьих и бараньих душ, и свиных, и гусиных, и мух, и слепней, и семикрылых трупоедов, что они давно затмили любое солнце, и сама вибрация крылышек их мелких оглушает меня в промежутке между четвертинками ненавистного летнего дня. Короче, ладно, четвертую четверть я всегда праздную: жара падает ниже тридцати, и можно дышать без маски и порой без кондиционера, и можно пить холоденькое пиво, и выпивать его раньше, чем оно нагреется, а еще совсем близка заветная затяжка перед ночью, где я окаменею, и затяжка – это то, зачем я встаю, влезаю в рабочую униформу, буравлю землю и потом вылезаю, потный и счастливый, честно говоря, нет другого смысла у моей жизни в безвестной дорожной пыли, кроме как покурить землю, которую я буравлю шесть остальных дней“.

Как видите, дети, довольно безрадостно было жить этим людям, их слишком много родилось, они слишком широко расселились и слишком глубоко забрались в землю. Они слишком много ресурсов пытались из нее выкачать, и готовы были бороться за каждую крохотную щепотку, и могли воевать из-за неправильно переданной строчки шифра, или кода, или Писания – они на многое были готовы, лишь бы крепить и восславлять Возмездие. И пока одни бесконечно расселялись, другие бесконечно рвались еще дальше убежать: в еще более глубокие пустыни, ледяные просторы и даже на дальние планеты, – такое безумие овладело всеми присутствовавшими, что они не находили покоя нигде, под давлением вечной тревоги они бежали все дальше! А вы, маленькие мои, должны усвоить главное: мы не хотим быть как они! А теперь хором: „Мы не хотим быть как они!“»

«Ты что-то сказал?» – «Нет». – «Мне показалось, ты говоришь, что не хочешь быть как они», – из ванной вышла порозовевшая, похорошевшая Попутчица. Осталось немного до Феникса. Я едва узнал ее – так сильно преобразило ее предчувствие встречи с суженым. Во сколько они встречаются? Говорит, в час дня. Ланч. Я показался себе тощим и бледным, как поганка, старым и бездарным – все разом в отражении. Раннее утро, я замышляю, куда дену себя, ведь я бесполезен без приложения к попутчицам или преступникам. Покурю, пока они встречаются. Накурюсь и залезу на какой-нибудь высоко сидящий над городом камень, устрою

себе перекур с видом на Феникс и напишу еще что-нибудь (на самом деле – нет). Я стану легким, заплету дух свой выдохом в клубящееся зеленое облако, я услышу запах Мэйна, дальнего, желанного северо-востока, хвойного, никогда не виденного кленового штата, где ледяной Атлантический, на широте Барселоны, бьется о рельефное побережье, населенное дочерьми викингов и их мужьями... Я забуду, что работаю в Homicide Department. Хотя я и должен прожить жизнь мужчины, я вроде как не обязан постоянно купаться в смерти?.. Или обязан? Попутчица заглядывает мне в глаза, в которых пронеслось все страдание, вся зависть и ревность ведьмачья. Странновато. «Все хорошо?»

Да, все отлично. Одеваясь, она щебечет: оказывается, в России задержали оппозиционного политика. «Вау, ничего себе. А знаешь, какая причина? Его дочка пошла в школу в „вызывающем“ пуховике. У них че, уже пуховики носят? Конец октября». – Смотрит на меня как на дебила. Черт, весь ее ум уже в L, и с меня сходит последняя пленка привлекательности. Я просто жадный вор, тащивший нас сюда в единственные полтора выходных между пахотами. Сегодня они встретятся, развиртуализируются, начнется новая глава их истории. Она верит, что будет это счастливой романтической сказкой, а я был нужен, чтобы получить кое-какой сатисфакшн, ну и потом Калифорния – кому не охота заняться любовью в Калифорнии?.. Будто и в теле у тебя цветет одно безостановочное лето, которое прервет разве только пара отрезвляющих подзаголовков, но этого недостаточно, чтоб протрезветь полностью, уж там-то любовникам, оглушенным белоснежным солнцестоянием, не знать?.. Слушай, да я вообще люблю все это дело. Я легкий и пустой, я проходимец, я попутчик ей, в конце концов, у меня за пазухой нет ни камня, ни ножа, ни сердца. «Все в порядке, подруга».

Но ей надо, чтобы сбросить стресс перед встречей с любимым абьюзером, перед входом в долгую изматывающую зиму, – надо либо грязно трахаться, либо пересказывать мне очередной бред о России. Ну а поскольку я вроде как душный эмигрант без ручки, то мне грех не послушать. Я так привязан к этой своей России, как будто одной ногой (ментальной) все еще там: в холодном позднеоктябрьском месиве из листьев, окурков, птичьего дерьма и роскошнейшего языка, дотягивающегося до глубин любой души, и все мои друзья, женщины, книжки, мысли правого полушария – о России и на русском. Невозможно представить, что, пока все оно тлеет и составляет меня, тянется мучительное, болезненное превращение, такое же, как все превращения внутри и снаружи меня: превращение в американца.

«Короче, ее арестовали, прикинь, ей шестнадцать лет, прямо на уроке, за то, что у нее пуховик был с надписью „ЗА НА \*\*\*\*\* ОГО“». – «Что, так и написано, со звездочками?» – уточнил. Попутчица кивнула: «И она в нем пришла так в школу, и на нее, как на живца, поймали папашу, и тоже арестовали. За что? А за то, что денег дал! А маму тоже хотели арестовать, но она пришла в шапке с сине-бело-красным флагом, и ее не арестовали». Думаю, что лучше бы сейчас вынуть голову из окна и блевануть прямо на асфальт на скорости сто тридцать, с которой я несусь, блевотину наматает на позади идущую машину, и они там охереют, начнут догонять, сигналить, может, даже подрежут, и буду объясняться: «Братцы, лучше вы, лучше пристрелите, чем слушать эту чушь о Родине!» А они такие: «А че ты Родину не ценишь, пес?! Слушай, что тебе говорят!» Пойдет по кругу эта бредятина, я опять как будто там, дома. А что я кочевряжусь? Не люблю что ли Родину или ее сплетни? О, как я люблю эту забористую неповторимую русскую дичь.

Оказалось, нет ничего более стремительно остывающего, становящегося на удалении более бессмысленным, чем общественно-политические страдания Родины. До меня доносится оттуда только навязчивый звон несправедливости. Я читаю и смотрю, как жвачку, и узнаю, что все это настолько касается меня, насколько я вовлечен в это. Но внутренний голос противится, когда я решаю вроде как поставить точку и воздержаться от дальнейшего жевания. Это рвет мою призрачную пуповину с отечеством, это отнимает у меня даже фантомный корень, и я оказываюсь на третий год настолько здесь ничем, в пустоте пустыни, в разгаре лета, что осле-

пительный ужас бьет через позвоночник: а если я не русский, не россиянин, не человек? Я староват, как говорится, для этого дерьма. Мне придется оставаться хотя бы чем-то.

Пусть уж и дальше – как было много лет – прежнее отечественное, кисловатое дерьмо, зато понятное, знакомое, как свои пять пальцев, прошлое – ох, да вообще у него одни плюсы. К тому же, когда Попутчица рассказывает, глаза ее ярко сверкают. Однажды, правда, это делается началом конца: в предпоследнем разговоре я брошу неосторожно: «Слушай, да это же общество терпил, чего ты ждешь от него?» – и ее перемкнет от ярости. Она припомнит и то, что я не выбирал себе эмиграцию, и что я не бывал дома N лет, и что я приставал к ней, когда она ясно сказала «нет», и что я потерял идентичность, не стал ничем определенным, не стал человеком без привязи. «Малыш, какое все это имеет значение? Это винегрет, малыш».

Но здесь, в американской Соноре, за много лет до нашей ссоры-фейерверка, в глубинке, в голубой тени горы, мы одно целое, и мы едем оба впервые увидеть L. Я увижу напряженного и немолодого мужчину. Приземистого, с прямоугольной головой и ястребиными глазами. Мне неловко смотреть на Попутчицу с L: с одной стороны, я привез ее, тащил на себе, убеждал, похлопывал по плечу, с другой стороны, я позволил ей соблазнить себя, вынырнуть ненадолго из расщелины смерти... И вот она подводит нас нос к носу. Дурацкая неловкая секунда.

Это наш парень, Дамиан, я поймал его. Ты будешь отомщен. Я смотрел ему в глаза минут пять от силы. Разговор затух, мы переминались с ноги на ногу, ожидая Попутчицу, чтоб она разорвала узы паузы. Мы, как собаки, тут обнюхиваемся всегда привычным ритуалом. Недоамериканцы, недорусские: «Давно тут?» – «Почти три года» (буквально через неделю исполнится три года моему октябрьскому переезду). – «Нравится?» – жмем плечами. Один вопрос на двоих – один ответ на двоих. Пока я их ждал, залез на северную грядку за городом. Пустил дыма, пустил душу полетать. Феникс простерся передо мной унылым ровным блинчиком. Огромные трассы и крошечные частные домики. Совершенно летний зной в конце октября, а с другой стороны – где осталась лежать обыкновенная необжитая пустыня – бегают зайцы и койоты. Одного я снял с зумом на камеру. Он покосился на меня и продолжил ковырять камушки и норки в поисках падали, или мусора, или зазевавшегося грызуна.

Бесконечные американцы бесконечно хайкают. Будний день, я не единственный молодой здоровый мужчина, который ничего не делает, идет по горной тропе. Маленькая толика любви отдалила меня от департамента смерти.

«По чему-нибудь скучаешь?» – L задает рубленые армейские вопросы, в его легенде отдельную строчку занимает байка о некоем таинственном пребывании армейским консультантом. Меня немного потряхивает от этой сапожьей прямолинейной простоты. Вообще-то, я тут буду задавать вопросы, старик. Дамиан-чик, мы сцапаем его, он наш. Осталось самое малое: доказательства. «По общению», – говорю очевидное. Попутчица уменьшается на глазах, она еще мечтает о своей эмиграции, она еще не понимает, что это такое и каково это – остаться тут без корня, в бесконечном конвейере капиталистической машины, который высасывает все время и Бога из тебя и превращает в унифицированного лыбящегося балбеса, – маленькая смотрит на нас восхищенно, как ребенок – на сказочных добрых исполинов. В ее фантазии она, должно быть, где-то посередине, уже на полпути на этот континент, и я не в силах ее отговорить и не в силах нанести ее иначе как пунктиром на карту Музея. Давай просто условимся, что она принесла мне вздох любви и силы? Не больше и не меньше. Я не могу написать ее, притворяясь, будто знаю, что там в ее голове. Да понятия не имею. Чужая голова для меня – это смерть. Женщину хотя бы можно познать чувственной, любовной работой. В нее можно войти и познакомиться с ее садом практически буквально. А в голову?... Голова – это всегда выдумка of the self about a self.

«Иди обратно, в смерть», – Попутчица отпустила меня, когда четыре дня ее путешествия истекли, и нам сделалось не по пути, и я больше не мог ничего дать ей. «Принеси оттуда весть о том, что добудешь. Ты гениально пишешь о смерти. Ты словно утоплен в ней». Я послушно

киваю, склоняю голову под тяжелым бременем. Граница тонкая. Я карабкаюсь на очередную вершину, чтобы узнать, что и за ней есть вершина. И так три мили – четыре с половиной километра, с редкой тенью, почти все время на солнце, по крошащейся тропе, по вздымающимся камням, через заросли тлеющих огромных кактусов. Моя Ведьма уже поселилась где-то в городе, на который я поминутно оборачиваюсь, и мы еще понятия не имеем друг о друге, хотя где-то в совершенстве все давно сотворено и проиграно. Мне надо выше подняться, чтобы она осторожно поскреблась в мою дверь. Ведьмак карабкается из меня на волю, человек без племени и родины, из давно потерянного края, предавший своих братьев, чтобы первую ведьмочку допустили до него для превращения.

«Чем занимаешься в Сан-Диего?» – наш небрежный разговор с L все еще длится. Натужный и пустой. Чтобы избежать паузы между тем, как он будто передает ее мне, а я принимаю, пушинку, принимаю. «Чем занимаюсь? Ну, вот последний час я рыскал по твоей квартире, поднял кавардак. Ну и понатыкал ты там камер! – я устал уклоняться, становиться невидимым. – Я взял образцы биоматериалов и отщелкал твой дневник. Чуйка моей внутренней ищейки говорит: я сорву с тобой куш. Дамиан, это наш парень!.. Еще не убийца, но я вижу в твоих глазах неспособность почувствовать. Такие самые опасные. Подлинные убийцы. Не сознающие, что убивают. Твое зло остановится на мне».

«Костя работает в полиции», – почему-то говорит вместо меня Попутчица, и L холодеет от ужаса, вздрагивает и начинает странным образом глядеть снизу вверх. Он не понимает, что и моему внутреннему ищейке, и моему внутреннему ведьмаку – охотнику на чудищ, помощнику превращающимся женщинам – еще только предстоит цикл рождения.

«Просто таблички в департаменте статистики заполняю, – со стыдом объясняю. – А так я писатель», – вспоминаю с робкой усмешкой. Я еще не успел себя самого короновать, тоже потребуются годы. Всему нужно пространство для превращений – свобода ума и время... Светлая тоска охватывает, когда я думаю об этих годах искренней детской невинности, простоты, попыток сделать текст, будто есть хоть слово, которое ты мог «сделать». Я – писатель. Сколько нужно мальчишеской несерьезности или наоборот циничной зрелости, чтобы такое сказать. У любого, кому больше двадцати, должна быть огромная палица за спиной, припасенная, чтобы отколошматить самого себя, избить до состояния обморочного глупца.

Однажды из книг будет добыта новая нефть, новый янтарь, из наших помутневших, ставших одним жирным пластом смыслов слоями станут извлекать ископаемые, вселяющие смыслы и чувства в технически безупречную эру Предчувствия. Я томный пророк эпохи Предчувствия, мне не ужиться в ней, там нет загадки, нет веры, там только точное чувствование всего, что есть, там бесконечное прозрение, не сиюминутное, не выстраданное, а постоянное. Мое дело – неблагодарное, юродивое: стоять среди своего времени и возвещать о будущем, где мне не оказаться. Смысла в этом нет, никто не желает знать, что случится с ним за углом; это и тщетное тщеславие чувствовать, что знаешь, не имея знания. В общем, нет и цены этому, и заслуженно, что я в лохмотьях, заслуженно, что в шести тысячах миль от дома, корень мой высушен и выброшен, заслуженно, что я переработан в язык, которого не существует, общаюсь на архаичном русском, гнию без русского настоящего. А главное, что другие, тоже превращающиеся в черный густой сок будущей Земли, давно сказали, написали, испили эту правду и ждут меня в безликом космосе смыслов, чтобы добытыми и очищенными быть через – ион лет следующими людьми, где не течет ни капли моей крови. Лучше бы потратить все сегодняшнее время не на эту жалкую страстишку, не на чванливое «я писатель» на глазах у L и его Попутчицы, а на чтение позабытых, потерянных книг. Уже сейчас книги негде хранить, слишком много смыслов, слишком густо, слишком обильно. Их «штабелируют», потом сжигают, потом развеивают легкий пепел, думают, ничего не осталось, но Земля забирает и это. В магнитном ее резонансе все раз испытанное бережно сохраняется, она не умеет забыть и не умеет воз-

ненавидеть. Заново, каждое утро, как будто не существовало тебя, ты срастаешься с телом и пишешь в дневнике:

«Новая наивность?» – уточняет L, оборачивается на Попутчицу, ищет опору для насмешки. – «Звучит кринджово», – хором объявляют, я вторю им, все только так, им видней, моего видения нет, это участь юродства – не видеть, а только напевать под нос, подвергаться насмешке за наивность, а право на нее до моего рождения стерто родителями, диктатурой, эксплуатацией, империями, глобализацией, великими Ост-Индийскими корпорациями, холокостом, волнами геноцида, ГУЛАГом.

«Дружище, – L кладет на плечо мое невесомую руку, как только он убивает такой легкой рукой? – звучит, словно замыслил ты что-то свое, как будто присвоил часть горной породы, шеф такого не любит, наши карманы просвечивают на КПП перед выходом: нельзя выносить землю в штанах, в трусах, в куртках – если каждый утащит домой по щепотке, то через год самой горы не станет, людям не хватает смыслов, это последняя гора на протяжении тысяч миль, это последняя гора в Мохаве, это последняя гора в плоскости Северной Америки: человек истребил сперва животных, затем птиц, затем пресмыкающихся, деревья, взялся за рельефы и сравнял в порыве божественного прозрения; все уравнил, превратил континенты в грандиозные равнины: такой замыслена эта идеальная земля, недвижимо-плоской. Кто ты такой, чтобы учить нас замыслам и будущему?»

Когда Дамиан проснулся, стал выздоравливать, стал возвращаться в мою жизнь, стал снова темным попутчиком, придающим веса моей душе, то я предположил: может, так называемые ангелы-хранители – это мы сами из будущего, останавливающиеся у критического момента прошлого, чтоб понаблюдать за ним? Может, нет третьей сущности: только «я сейчас» и «я, оборачивающийся на это через толщ времени, через океан мгновений»? И чем острее, ярче момент, тем гуще присутствие ангела, потому что ты из будущего будешь возвращаться к нему все чаще. Просто кто, кроме тебя самого, с искренней заботой станет кружить вокруг и сберегать от греха, от увечья?.. Говорят, все вне наших тел обитает чуть ли не в совершенной гармонии. Говорят, мы чуть ли не последний, самый низший мир. Говорят, ниже нас еще есть пара-тройка двумерных миров, но они работают уже скорее как поддерживающие структуры, нужные для чего-то вроде «отталкивания», чего-то вроде пружинящей силы. Говорят, впрочем, что и через них можно провалиться ниже. Куда ниже двумерности?

Философия удалась мне лучше всего. Я говорю L: «Я пишу fiction, я все выдумываю». – «Он вор», – вторит Попутчица, я сам разделся перед нею, я сам вошел в нее, добровольно, с любовью, без любви нельзя войти. L приподнимает бровь над буравящим меня черным соколиным глазом. Я не соображу: это глаза гения, или безумца, или демона, или идиота?.. «Выдуманные истории», – поясню, как для идиота, но ни он, ни Попутчица себя идиотами не ощущают. Слова даны нам, говорят, для молитвы. Говорят, для философии и облачения Бога в смысл даны нам слова, а мы употребляем их от невежества для small talks, для small books, для small nukes и так далее. Но зодчий, когда лепил слова, тем и был прекрасен, что предусмотрел все мыслимые возможности и ни одну из них не поставил на первое место, ни одну из них не возвеличил. Он не знал, чем все это закончится, и знал, что это закончится всем. У него нет весов, а тебе вечно нужны весы, глупец, гном-копатель, чтоб взвешивать добытую породу, будто она имеет массу.

«Напишешь про эту поездку?» – спрашивает Попутчица. Если историю не записать, она сделается увядающей памятью. Ничего другого. Вот она, посеревшая, затемненная, дальняя Попутчица, я едва припоминаю ее. Мы на какой-то «плазе» (мерзкое слово), прощаемся навек, я говорю, что люблю ее, что узнал, что она все-таки настоящий друг, что она пролила слезу обо мне, когда узнала, что я в беде, а это тяжелее, чем вся ненависть, желчь и обида, которые были между нами целые годы. На плазе размыкаются наши объятия, Америка – это край плаз. Без гадкой плазы ты не видел Америку. Если ты приехал в Нью-Йорк, и весь отпуск бродил по

Манхеттену или даунтауну Бруклина, и не отъехал по трассе от города, и не увидел плазу – ты не можешь говорить, что представляешь Америку. В плазе скучилась мещанская пошлая жизнь среднего американца. В плазе ты спускаешься с неба и возвращаешься в жир повседневности, и тело ужасно неудобно для тебя; но ты не больше чем тело, когда закупаешься продуктами, шмотками, бытовой техникой, побрякушками, книжками, лотерейными билетиками в плазе.

Мы едим какую-то истекающую жиром гадость, жир забирается нам под ногти, на нас глядят исключительно одобрительно. Парень в неплохой форме (я готовлюсь к тесту на патрульного, все-таки полицейские на земле получают в четыре раза больше, чем заполняющие таблички, как я), у девчонки отменные бедра, да и в целом задница ничего. А еще мы белые, а еще мы кушаем (мерзкое слово) на плазе (мерзкое слово). У нас обоих отходняк. «Ну, я даю тебе слово, что не попытаюсь представить, что у тебя в голове, напишу только свои мысли, а тебя скрою, назову „Попутчицей“», – выбрасываю в мусор истекающую жиром булку, вытираю руки, губы.

Серое, все серое и как будто показанное еще и через линзу солнцезащитных очков. Серозатемненное. И этого живого человека я не попытаюсь сделать живым. Честно скажу: я понятия не имею, что и как привело ее к L. Нет, есть история об этом, он скажет мне, когда через пару лет на пирсе Санта-Моники мы будем идти через толпу, пожирающую жирные дисконтные котлетки, о том, что написал бота для тиндера и что бот отлавливал тестовыми десятками репликами женщин среди куриц (так мерзко и скажет, от этого я чуть не подавлюсь котлетой), но поскольку отсюда мне видно и известно, что все, сказанное L, – сказки для простаков, – я думаю, что и бот – брехня, что он обычный мужчинка, как я, только убийца, что в соцсети он со всеми честно, напористо, назойливо переписывался. А как еще? Таково наше, мужчинок, бремя в двадцать первом веке.

Тем более я не видел у него ни одного бота, ни одного автоматизированного процесса. Он все делал руками и голосом. Кажется, он очень тащился от возможности голосом обратиться, приказать что-то роботу. Мы-то знаем теперь (так говорят), что голосом надо в основном пользоваться для молитв, но L мастерски управляет роботами. В Предчувствии человек чаще обращается к машине, чем к другому человеку, потому что, живя в новом царстве, – ведаешь, что у другого в сердце, и нет нужды употреблять слова для лжи и искажений. Добыл ее из соцсети, она прошла некий тест и показала себя не пустой. *«Он взвесил их и нашел слишком легкими...»*

«Как тебе идея о самом искреннем американском романе о превращении в американца?» – спросил ее. Это единственное, что я могу довольно подробно, с деталями и без ухода в философию или молитву, сочинить. «А для „структуры“, которой иначе так не хватает, у меня есть твоя история с L. Подари мне ее?..» Безусловно, она возмутится: гном, вообще-то, стоял на самой обочине, нет у гнома права и инструмента копошиться в их истории, но... еще была же моя окропившая их кровь, разве недостаточно?.. и Дамиан, полностью восстановившийся, сильный, как никогда, подначивает и поддерживает меня. Он знает меня лучше кого бы то ни было и никогда не отречется от меня.

«Ну, заобщались, стали созваниваться», – говорит L опасливо, с паузами, словно подбирает нужный проводок посреди минного поля. Он пытается нащупать, что мне известно, а что нет. А я шерстью чувую, что он убийца... Его слова и выражение личика, квадратного, увенчанного рыжими бровями, отточенно верные. Был бы я детективом, то признал бы, что тут не к чему придраться, что с парня надо слезть, – но в глубине души я знаю, что он знает, что я знаю, что он лжет. Дамиан, это наш парень.

«А потом она приехала к тебе», – подсказываю я. «Нет, это она к тебе приехала», – очень редко в его речи появляются человеческие интонации: например, насмешка, укор, подначка – как сейчас. Обычно он разговаривает как ошпаренный робот, как будто боится быть таким же человеком, как я, с недостатками и пошлой глупостью. Мне, конечно, тоже передается это отточенное стремление выглядеть не тем, кто ты есть – как будто совершенством, – но я и



так унижен своим бубнящим внутренним унижителем. Если ты хочешь казаться не тем, каков ты есть, если ты мечтаешь быть персонажем литературного произведения rather than парнем, который знакомится и влюбляется в девчонку, а у нее оказываются месячные, а у нее оказывается молочница, а у тебя оказывается маленький член, а у нее оказывается бывший муж, а у тебя оказывается аллергия на ее духи из хвойного Мэйна, и так далее, и тому подобное, и все это мелко, пошло и смешно, но это-то и будет вашей историей во всей ее неприглядной, не переписываемой в историю на бумаге красоте, – то ты глубоко, подлинно болен.

Я еще понял, что все сказанное нами вслух исчезает. Это другое свойство памяти: там все немые, и все общаются на уровне эха. Вроде бы там двигают губами и передают, как тени во снах, свои мысли, и ты вроде бы знаешь, что было сказано, но доподлинно обозначить это буквами уже невозможно. Поэтому в моем Музее не будет диалогов, и даже зрителям, если честно, надо запретить говорить что-либо, кроме заранее записанных монологов. Поэтому я запоминаю самое острое, когда осторожно спрашиваю: «Ну ты же понимаешь, что она прилетела-то к тебе? Что-то, может, и не сложилось, и ей понадобилось взять меня в попутчики, но она летела к тебе. Бро, она летела к тебе. Ты что, бро, совсем не врубаешься в женщин?!»

You fuckin' not realizing that she's been living with the idea of you?!. Getting this fucking visa thing and then buying these ridiculously expensive tickets, which were like... Idk, like thousand bucks or something and she was taking this fucking short as fuck vacation to just fly over the continents and fucking insane ocean to just spend miserable three days here in Cali. But she couldn't know what it was like here, so the only true reason must have been you, you!» – Выкрикивая ему это в самодовольную песью, соколиную рожу, я чувствую острый укол ревности. Пожалуй, впервые мы меняемся местами: странно, это он должен был ревновать ее ко мне, а ревную я. Столько усилий, столько чертовой унижительной ненависти к самой себе и любви к нему, к роботу – Попутчица не заслужила этого. Кроме самодовольной, спрятанной в неподвижном взгляде усмешечки, он никак не реагирует, но я кажусь себе вставшим на его место в Фениксе, и наоборот, что это он привез ее ко мне. Но он насмешлив, будто мы говорим не о живом человеке – не о живой чертовой Вселенной, впихнутой в маленькое совершенное тело, – а о другом таком же роботе, запрятавшем всю свою искренность в чертовы формы абзацев и букв. «Как-то в голову не приходило», – пускает беспечное дымное колечко, пожимает плечами. Убийца в своем праве.

Выходит, в моей Вселенной только я бы умолял женщину приехать ко мне, совершить чудо, побыть со мной, вынуть меня из болота смерти, из эмиграции, из неродной уродливой страны, из неродной, прожженной дьяволовым огнем реальности, стать ведьмочкой для меня, утешить огонь в нас... Он сокол, он пес в хорошем смысле слова «пес» – он бог псов, машина, он Цифра, по крайней мере, молится цифре. У той все okay. У нее нет колебаний, или двух возможных мнений, или парадоксов. Цифра – это цифра: если исключен ноль, значит, единица; если исключена единица – значит, ноль; если исключить не выходит – нужно больше данных, но не бывает квантовой все-возможности. Красота цифры (опасная – потому что с этого начнутся с нею парадоксы) в том, что ее можно разложить на десятые, сотые, тысячные, миллиардные. Но, как бы то ни было, в цифре живешь на освещенной, доказанной стороне бытия.

В конечном счете, как и всему вне себя, я начинаю завидовать L, и зависть скручивает меня в желчный ядовитый ком. Всех нас, пожалуй, в той или иной мере, Америка приманила завистью. А чем еще?.. Невозможно представить полноценного, полной грудью вдыхающего и в достаточной мере выдыхающего, который бы сорвался и помчался, полетел, поплыл через полмира, разорвав пуповину, чтобы стать эмигрантом или тем более американцем. «Американец» – мы и не знаем, что это. Любитель сигарет camel, бейсбола, бранчей, йоги, жареных крылышек, бесконечных прерий, ситкомов? Он вообще не вид. Он – это я, а быть мной, я тебе скажу, такого врагу не пожелаешь, даже рептилоиду... Конечно, в конце пути ты попадаешь в край несказанной красоты. Этот континент божественен, божественная сила и красота. Недаром тут полмиллиарда человек и все возносят ему молитвы. Уж что-что, а Землю любить

мы даже отсюда еще не разучились (в массе своей). Например, среднеамериканская равнинная пустошь. Например, Небраска. Мне говорили, что через нее ехать хороших восемь часов.

Я уезжаю в Небраску, чтобы смыть с себя L, Попутчицу, зависть, найти новую точку сборки. Мне звонит Дамиан, но рассказать ему нечего. Раз я в Небраске, значит, если начать ехать, например, зимним утром с восточной стороны, из Омахи, то до Пайн Блифс, на западе, доедешь как раз к сумеркам, и всю дорогу тебя сопровождает лишь одна бескрайняя выстеленная гладь скудной белой и бурой земли. И сказать об этом нечего, слова делаются плоскими, выстилают пейзаж. «Чем не Россия, – спросит другой, – ну, кроме дороги, возможно?..» Дело в зависти.

Здесь, в пустоте ровной серой бесконечной пологой пустынной оставленной Небраски, я складываю уравнение про L, как будто по возвращении я положу расследование на стол и доложусь саблезубым начальникам, что главный маньяк Калифорнии – вычислен, и взвешен, и найден легким – нами с Дамианом. Наш парень. Но увы... Может, и был он затем, чтобы испытать нас, но Предчувствие жило в нас с самого начала. Во мне так точно. Мы слишком крепко должны были полюбить друг дружку, чтобы не расстаться, а когда целых шесть человек вдруг влюбляются, когда между ними вспыхивает смерч вдохновения, то они решают: мы никому не расскажем об этом, и нашей темной страстной любви будет довольно, чтобы менять мир, – и когда действительно поменяли его... – то к этому времени не осталось уже самой молекулы. Она расцепилась и стала шестью отдельными (впрочем, насчет лично себя я так до конца и не уверен. Эти «мы» теплой приветливой тоской еще живут во мне) новыми историями. Увы. Саблезубым начальникам лишь остается покрутить пальцем у виска.

Я помню нас... Скудная почва Небраски дает хороший корм памяти, тут не выжить без памяти. Тут впасть в беспамятство легче легкого, ядовитое однообразие повсюду, только по догорающему на западе закату узнать, куда держишь путь и почему: потому что начал с востока, начал с начала, начал с первого удачного превращения женщины в Ведьму, начал с неблагодарного проклятия, и катишься теперь полный сил в ночь, в небытие, крутишь без помощи цифр жизнь, как кубик Рубика: может, цель ее в полном насыщении собою всей пустоты долины, а может, в том, чтобы сгинуть в долине, не удостоившись насыпи с медным крестом – катишься, в общем... мышечная память: как давить на педаль, как подправлять руль, как пить из бутылки, выведет, даст бог, тебя из пределов полной Небраски в знание, что есть сила вне тебя, глубинное знание, смысл, о котором и не мечтал еще утром.

Я помню сентябрь, дождливые часы пересадки в Нью-Йорке; но дождь уже мне нипочем, я знаю: со мной других пять человек, и если каждого лично я не способен любить одинаковой мерой, – то даже это не страшно, любовь остальных всегда поможет, сбалансирует меня, сделает вновь пропорциональным. Темна работа пропорций. Я расправил крылья, начал оттаивать понемногу, выбираться из заколдованного прямоугольного штата вечной степной тоски, из ощущения, что моя любовь ни к чему и напрасна. И этот сентябрь две тысячи семнадцатого был мне нужен, чтобы вспомнить, что у любви есть не только слабость, но все-таки и сила.

Я помню нас: прямоугольник стола, прямоугольники света, приветливый, не для людей построенный, но для исполинских идей ВДНХ, московское последнее летнее тепло, не таящее никаких обещаний неисполнимых, или угроз, или гроз. Я помню, что мы протянули друг другу руки – словно одновременно – кто-то со скепсисом, а кто-то с надеждой, как волшебные палочки. Я помню, как наколдовал эту минуту и как беспомощен оказался, чтобы создать ее один. И другие должны были соучаствовать в волшебстве, чтобы оно вспыхнуло и сказала мне: писатель несет тяжелое бремя. Никогда не суди его в себе.

Тем летом я поднял тяжелое бремя: накануне осеннего дождя в Нью-Йорке, снова в царстве одиночества, но уже неразрывно соединенный с пятью другими. С берега Бруклина за взвесью дождя кривой хребет Манхэттена – самый подходящий для больших городских озонаний. На миг – хотя город в осеннем дожде весь писан полутонами – не стало для меня ника-

ких переходных оттенков, а только три слоя: город, вода, куда уйдет вся память, следующая спираль жизни, и третьим – собственное тело. Я увидел вдруг, что, с друзьями или без друзей, с любимыми или с ненавистными, могу выжить в любом случае, только если буду особой красной краской среди мира, который мне выпал.

Это был уже третий год, как мой путь неизбежно заканчивался городом на краю американского запада и, шире – на краю западного мира. Нью-Йорк не годится – я пересяду на самолет дальше, в последний город. Говорят, лучше города на Западе нет, а почему бы не начать сразу с лучшего, коль скоро лучшую землю – родную, русскую, русским родным языком залитую, – оставил из-за зависти и обиды. Перед глазами еще стоит взвесь и хребет великой столицы, но я сажусь в Сан-Диего, скольжу над городской верхушкой (аэропорт тут прямо в сердце города, самолеты вонзаются в него почти вертикально, мы дивимся, глядя в иллюминаторы, как грибами разрастаются японские небоскребы, тюрьмы, верфи), мимо собственного дома, – мне повезло иметь собственную крохотную хижину в самом подбрюшьи тихом-сладком, где припасена свечка к моему возвращению, – и повезло иметь единственную попутчицу, сверхсилу одну-единственную, единственный талант.

Из шести создана молекула, которая после весны, после этой посадки, никогда снова не соберется, словно путь в превращение через время закроется для нее. Итак, Сан-Диего.

Вечное лето, последний огромный пирс, входящий в Тихий океан в жалкой попытке длить хоть чуточку царство. Дальше, за безбрежным Тихим, колышущимся в забытии, уже Восток с его непонятной, отдаленной причудливостью, – отдельная жизнь уйдет, чтоб прожить его, – а я здесь, на западе, у самого края материального, накануне царства Предчувствия. Удочки рыбаков на самом длинном пирсе побережья заброшены, я меж ними стою без улова, бриз сушит кожу, выветривает сиреневые круги из-под глаз, унимает нервный тик жителя мегаполисов, и я проповедую, и никто не слышит. О, как сладко! И сладкое тепло ласкает, успокаивает проповедника во мне: ты дома, ты перед землей, что не даст урожая, ты вправе передохнуть, отдохни, никто не услышит.

Кажется, я и вырвался из Небраски, из Нью-Йорка, из Москвы, из дружбы, только чтобы отдохнуть наконец-то и пожить загорелым крестьянином. Праздную двадцать девять лет – сладкий предел молодости, невинности, простоты; но когда нервы излечены от травмы больших городов и пустошей, тело пора отравить, чтобы продвинуться вперед. Здесь всегда солнечно и прохладно, и я всегда начинаю описание города с его изменчивой, но одинаковой погоды.

Мы живем в шести состояниях: ранняя весна, цветущая весна, уходящая весна, затем первое лето, знойное лето и сходящее лето, балансирующее на грани того, чтобы вдруг, в самый холодный и темный месяц (обычно ноябрь-декабрь) впасть в хандру осени. Тут протекла моя эмиграция, которую я никогда так не называл. Я ехал к нему, заговоренному городу шести демисезонов (*секстосезонов?* – примеч. соавтора-Д), и мне хотелось, чтобы нашлось объяснение, стройное и внятное, как я здесь оказался.

Имена и поступки наслаиваются и должны рано или поздно превратиться либо в органическую картину, несколько смысловых уровней, слоев, градиентов, массивные предложения, либо вылиться в полную бессмыслицу, белую пургу, где утрачены все ориентиры. Я завидовал людям, верстовые столбы которых смела метель, и вот сам я здесь, ведь зависть страшная сила, получите распишитесь, товарищ гном-ведьмак, страшнее только Возмездие. Вот оно, забирай: право быть собой в своем внутреннем саду. В нем можно даже поставить клетку и запереться. Пройдет время, я сделаю ее из камышовых прутьиков и еловых лап. Но я улетаю в Сан-Диего на пике формы, – мне двадцать семь, – веруя, что не только *получится*, но что это еще и шаг на ступень вверх. Без пространственного ориентира невозможно совершать шаги во времени. Если пространство не подчиняется – время кажется небезопасным и чудовищным.

Мне хотелось, помню, в самолете через мир, в самолете, застывшем над необитаемой североканадской бездной льда и гор, чтобы мы все взорвались там борту, лишь бы только не приземляться. Отправляясь на восток, ты делаешься странником, потерявшим день. На запад – ты удваиваешь свой день, удлиняешь жизнь, заискиваешь перед бессмертием. Я прилетал во вторник, улетаю во вторник, я плакал, чтобы вторник не наступил. Сжал кулаки и порвал пространство, а заодно и время. Логично, что не взорвался, раз существует теперь вся эта память и выющаяся тоска – бывшая боль побывших там «я». Я прилетел во вторник, двадцать седьмого числа, шел октябрь (в том году на октябрь пал пятый из шести типов лета), и я пришел сразу на две войны.

Одна была моей внутренней: ею я исписан изнутри, измалеваны мои тетрадки и черновики, в нее попадаю утром, с первым страхом, и выхожу ненадолго во время сна, по крайней мере, тогда она отступает и шумит, словно прибой за закрытым окном; вторая – война внутри самой Америки, кипучая и дикая, в которой я пристал к маленькому отряду, просто потому что совсем одному выжить невозможно, я сменил несколько отрядов, и всюду в той или иной степени видел нескончаемую войну и дивился: с дальнего русского берега выглядело так, что война и дичь только в моем отечестве, и о ней мало кто знает, хотя все и каждый – на ней, – а тут думал, что не будет никакой войны. И все же я здесь, и война двойной спиралью простирается пространство, и репродуцирует саму себя, и составляет меня.

Так я задумал и написал книгу о войне, проковыряв в себе до крови острое чувство войны. О нем не перестанут спрашивать, ему будут не доверять, но только на поверхности – изнутри каждому будет видно, что отпечаток ее подлинный, насколько подлинным вообще может быть знание сердца. Писатель идет на войну совсем один, и бремя его тяжелое. Ему некуда пригласить зрителя. Если же и приходит гость – автора давно нет. Часто оставленное собой он, оборачиваясь, ненавидит, и часто оно во всех смыслах не принадлежит ему, и тогда он вовсе не автор – исчезнувший мираж, который бы оставался, не узнай он об истечении своего времени. Автор работает в одном измерении, вернее дает чему-то своему работать посредством себя, а сооружение возникает в еще одном измерении, куда ему уж точно не поспеть – это слишком далеко в будущем. И обречено стать темной нефтью будущего, пространством царства Предчувствия; и от случая к случаю сооружение, будучи сотканным из подвижных волокон, проникает в дальнейший каскад измерений: на сцену, в кино, в широкий контекст, в политику, в общественную повестку... Ничего этого, конечно, мне не нужно.

Сооружение автора многомерно, но он не соприкасается с ним. Не знает, что получилось. Его давно нет, но мерить его можно столь пошлыми словами: «получилось», «удалось»... Важные вопросы, на которые он вынужден ответить: «Что именно это такое?», «Кому и как оно сказано?» Но ответы похоронены в его сердце, и останется ложь там же. Может возникнуть искушение сказать, например (если кто читает нынче описания экспонатов в музеях, то на втором этаже моего Музея найдет он следующее описание багровой, уставшей от времени книжки под стеклом):

«...прославившийся воин возвращается из карательной экспедиции и создает молекулу <...>, которая будет уничтожена наемником-демоном, а на пути <...> встают и исполняют свои роли препятствий и союзников. Но под давлением черной материи смерти и любви (все книги нового времени должны работать, приводимые в движение с помощью этих архисмыслов, оттеняющих блеклую плоть „настоящего реального“) воплощается фатум воина: всегда в том, чтобы умереть на войне – рукотворной ли, выдуманной или всеобъемлющей, привычной для века Возмездия».

Моя же плоская идея осталась в том, чтобы заземлиться на чужой земле. Мне надо было служить чему-то вне сиюминутной человеческой суеверности (которой у меня вдруг не оказалось), чему-то, что никогда не породит энергии, денег, но ответит на мучительное, зудящее «Зачем?».

Для этого годится работа при земле либо сосредоточенная медитация: обеими практиками получаешь смутное осознание, что же происходит.

Так я стал крестьянином и патрульным: присматривать за землей и ясно видеть сущность людей. Думал убить двух зайцев. Думал, если буду пронизать умы и души, это даст мне ясность. Думал, есть некий универсальный код, способный вскрыть или настроить на один резонанс с людьми. Впрочем, кого я обманываю? (И вправду, кого?..) Первые два с половиной года из срока я провел в темном углу невежества. Вообще-то, это были пиковые годы.

Они затемнились и забылись настолько же, насколько сама Россия во мне теперь померкла. Это был русский американский период, когда ты совершенно русский и пересажен только головой, но не корнем. Каждый справляется с этим *misalignment* по-своему. Тут главное – четко объяснить себе причину. Тут лучше всего действуют логические стройные конструкции. Я работал составителем таблиц в департаменте убийств Сан-Исидро, и это в полной мере соответствовало стройности конструкции. Западная, калифорнийская Америка плохо годится для прозы, гораздо лучше для картинки, для кино.

Многие тащат за пазухой нож или камень, который затем превращается в орудие убийства. Я узнал, что вокруг разлито море смерти. Страшно: без петербургской влаги, или московской мороси, или хотя бы стандартной среднерусской долинной туманности смерть кажется куда более противоестественной, в ней нет второго дна, нет задумчивого осмысления, раскаяния. Как будто в сухости не должны умирать люди. А может, я просто никогда до этого не соприкасался со смертью, и только тут мне открылось, какой огромной силы она требует. Человек, конечно, невероятно крепко спаян: я видел переживших шесть пулевых попаданий, пять ножевых ударов, избиения толпой из десяти человек, выживших после пыток картеля, который отрезал им все, что можно еще было отрезать, и вырвал зубы, языки или глаза, и в некоторых сохранилась жизнь, и из чужой статистической таблицы они не перекочевали в мою.

Смерть уплотняется всего в двадцати милях от береговой линии, но значительно более разреженной делается вблизи океана. Вдоль океана теснятся города, я перечислю для удобства посетителя второго этажа.

Самый южный город американской Калифорнии – это Империал-бич. Когда я прибыл, он еще походил на деревушку серферов, но туда втекала цивилизация со всеми протекающими через нее... – силой, деньгами, бризом новой жизни...

Севернее, на отдельном острове, есть независимый городок Коронадо: богатые мамочки, адмиралы и капитаны, а еще, конечно, просто богачи без определенного источника богатства, зачастую сами позабывшие, откуда истекло их богатство. Это одно из первых прикосновений к чуждости Америки: здесь есть старые деньги в забвении. Есть просто богатство, оно есть. И ты стоишь, в своем крестьянском рубище, человек напротив тебя может быть в точно таком же (по внешним признакам) наряде, а то и проще: сланцы, шорты, майка с дыркой и пятном, – но в рубище именно ты, потому что человек одевается в свой статус, не в шмотки, человек одевается в доставшуюся ему силу, а не в то, что застегивается или зашнуровывается. Уж если тело – истлевающая одежда, то что говорить о наших тряпках? – они только прикрывают самый явный срам и греют слабые кости. Женщина льнет к силе и спокойствию, а не к ткани. Мужчина расцветает, когда течение силы правильно установлено в нем и длится без сбоя.

Ладно, списки будут на втором этаже, а здесь задержимся.

Коронадо – это продолговатый с юга на север остров, загнутый, как жирный знак вопроса, с городом его соединяют всего две сухопутных ниточки: огромный мост, мечта самоубийцы, выгибающийся синей дугой над заливом. Дорога от моста делит рабочих по признаку: верфь или служба в конторе, а также насыпная дорога по малолюдной песчаной косе. Еще есть нитки паромных переправ и неисчерпаемая возможность пересечь залив вплавь (на самом деле нет) и на лодке. Слева от синего моста, если возвращаться в город, пузырится так называемый «американский даунтаун».

«Даунтаун» – звучит отвратительно, но неизбежно. Ты там окажешься, ты спустишься туда, этого не избежать. Пытаясь написать дюжину книг или рассказов об Америке, не нашел способа избежать встречи с этим словом, если только не писать про исключительно глубокую глубинку, природу (ее описания, говорят, всем опостытели, и зумеры такое уже пролистывают за неимением смысла) или не помещать текст в обстоятельства полнейшей фантастической альтернативы. Наш пузырится слева, когда мы пересекаем пролив по Коронадо-мосту, а справа входит в изумрудные волны верфь. Мост, кажется мне, слегка наклонен и наклоняется год за годом все сильнее, и в какой-то момент из левого окна начинаешь видеть одно только небо, а правое наклоняется к воде, и кажется, мы вывалимся вот-вот, разобьемся насмерть об эту беспечную воду, ничем ее невозможно одолеть, хотя она и самое податливое, что бывает, трупы станут бултыхаться между величественными фрегатами, сухогрузами и какой-то морской мелочью, напичканной оружием и радарам. На верфи стоят десятки судов, периодически одно уходит в рейд, и на его место моментально встает другое. Сутками идет ремонт, эти корабли величественны и бессмысленны, не считая их потенциала к убийству. Никто не хочет сражаться, тем более с помощью кораблей, тем более с помощью надводных судов. Говорят, подводники не понимают, зачем нужны надводные корабли, если они все могут быть вслепую уничтожены минут за тридцать в начале боя, но для чего-то это нужно. Никто не хочет войны, хотя город безмятежного непрерывного лета изрыт военными тоннелями, переполнен служивыми людьми и день за днем над ним барражируют вертолеты, странные гибридные машины из «Звездных войн», истребители режут сверхзвуковым клинком. Чем дальше от войны, тем война становится комичнее. Внутренняя война так и длится, но война обычная?.. Смешно и нелепо. Но военные тут не шутят: огромная машина оборудована и работает без перерывов, подобная гигантской сердечной помпе, прокачивающей деньги.

А даунтаун – чертово, тупое, акающее слово – вырос изрядно. Когда я сошел с поезда (заправский эмигрант), снял колоссальный чемодан-гроб на двадцать пять килограмм жизни с погрузочного механизма, – даунтаун Сан-Диего был еще подростком. Что-то торчало, но в старых, восьмидесятих годов постройки высотках было что-то наивное и невинное. Попытка быть великим городом, но, по правде, даже не подделка под него. Слишком местечково, провинциально – это и была дальняя провинция, поезд еле плелся последние километры пути, через туманную влажную ночь. Ведь был октябрь, когда поезд доставил меня.

Даже в том, что торчащая посреди даунтауна башня без окон – это одна из десятков наших тюрем, – есть что-то невинное. Как будто люди тогда верили в вину, и наказание, и исправление, тогда, в эпоху модерна, без приставок «пост-»; преступники и надзиратели хоть и менялись местами, не были еще безоговорочным единым целым. А сейчас все слиплось, и после долларового дождя выросло три десятка устойчивых к землетрясениям башен. Говорят, строили по японским технологиям, потому что плита Сан-Андреас под Калифорнией рано или поздно действительно разломится и значительная часть старой земли старого штата провалится в воду. Вспузырится новыми горами спящая долина. Сан-Диего с этой точки зрения – еще в условно выгодной зоне: говорят, он сделается островом, так что многие из нас выживут. Пусть в моем сказочном непреходящем лете ты представишь, что селятся здесь только отлетевшие: самая крайняя граница духовного и научного поиска: генетика, охота за бессмертием и браманическим раем, деревушка потерявших амбиции серферов – людей, познавших, что сколько ни обуздывай волну, она приходит тут же снова, та же, но другая, и у тебя никогда не хватит сил обуздать.

Однако все эти признаки мерцающей невинности, рая – в прошлом, проморгал я первые свои два года, а с две тысячи семнадцатого великое богатство (великое Возмездие, кажущееся в первом приближении «удачей») вошло в город. Он стал последним желанным мегаполисом перенаселенной, перетрудившейся Калифорнии. И пока я тут, на фоне устаревших башен восьмидесятих растопырились свечки кислотно-желтых японских небоскребов, все еще им до



неба как до эпохи Предчувствия – дистанция понятна, но не пройдена, – с них вспыхивают шикарные городские закаты, с них сыплются шикарные наркоманки в золотых платьях. Они полнят сказку собой. Прозрачные неугасающие экраны 24/7 транслируют слова, лица, виды.

Когда-нибудь все даунтауны и сумасшедшие кварталы многоэтажек должны быть сочтены за безумие и диктат силы, и медленно их рассеет ненужность в дым. Прорастут сквозь асфальт деревья и кустарники, все позеленеет и будет оплетено птичьим щебетом, увенчано цветением. Когда-нибудь все, надеюсь, кроме сигнальных московских башен и редкого американского ар-деко, предадут забвению.

Неофит крестьянства, скучного провинциального края западной цивилизации, убедил себя, что лучше жить в приземистой хижине. Теперь, когда позади московская двадцатипятиэтажная панельная башня, я прихожу на пирс, чтоб говорить среди рыбаков, которые не слушают. Брожу одним из безумцев, которым принадлежит дно человекоидов, и кричу на рваном английском: «Hear me and behold! I proclaim this to be the ugliest of the cities! I hate to be down here. I am mad of being down here. I am a madman, give me some food, lady, please!.. Share some change, sir?.. Sir?.. Some change?.. Sir? Somechange? Smchange, sir?.. Smchangesir?..» Городское сердце принадлежит бездомным, потому что это public земля и результат публичной неустroенности, будто мутные социальные с(т)оки стремятся к подножию самой дорогой, переоцененной недвижимости, где им не могут отказать в праве быть. И это public burden содержать их в себе.

Да они и не завоевывают уже право, это ползучая черная война. Она проиграна населением квартир – в ней сразу выиграла бездомница.

Это грязная была война, короткая многодневная схватка-сходка, а бездомница – теперь долговечная грязь под ногтями общества. Хочется вычистить, а приходится не замечать. В бездомных я вижу наибольшее число своих братьев. Знаешь, был целый отрезок жизни, когда они мерещились мне постоянно. Ну, я ездил тогда в блядский даунтаун регулярно, у меня там друтибетец... Но списки-структуры пойдут позже, сейчас не о нем речь. Даунтаун всегда раскрывал передо мной объятия и подмигивал: вот тут бы был неплохой для тебя пятачок, займи его палаточкой до наступления темноты: здесь и достаточно тихо-безлюдно, и есть укрытие от дождя, и, кажется, неподалеку станция, с которой ты мог бы отправиться в странствие, если завтра внезапно – день откровения и проповеди. А если спуститься в общественный парк или пойти вдоль малопопулярной реки... – там целые города-туалеты;

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.